

И. СЕРГИЕВСКИЙ

ГЕТЕ В РУССКОЙ КРИТИКЕ

Материал, собранный в печатаемой ниже статье, свидетельствует о том, что о русской гетее не говорить во всяком случае преждевременно.

Любопытное исследование материалов об отношении русской критики к Гете доказало лишь, что систематическое рассмотрение высказываний русской критики о Гете не может дать ничего нового или ценного ни для понимания самого Гете, ни для истории русской общественной мысли. Когда т. Сергиевский пишет: «Русское гетееанство как цельное умственное движение иссякает к пятидесятым годам, а десятилетием позже затухают последние дискуссии о Гете»,—он прав конечно фактически, но пользуется выражениями слишком уж пышными. Ни «гетееанства как цельного умственного движения», ни «дискуссий о Гете» как мало-мальски значительного общественного явления констатировать в истории русской культуры XVIII—XX вв. нельзя.

Отзывы русских художников, слова критиков и публицистов о Гете случайны, фрагментарны и несамостоятельны, будучи—с одним-двумя исключениями, о которых ниже, лишь вариантами оценок, в тот или иной момент высказывавшихся в европейской литературе.

Что касается истории русской общественной мысли, то для изучения ее тема «Гете» тоже оказывается очень мало характерной, неспособной подарить нас какими-либо новыми ценными чертами или хотя бы черточками для ее познания и характеристики.

Перелистывая соответствующий материал, можно легко убедиться, что например русский «байронизм» для начала XIX века или «дискуссии» о французских символистах и о Ницше для конца его хранят в себе гораздо больше материалов для познания идейной революции, борьбы литературных партий и общественных сдвигов в русском обществе этого столетия, чем русская гетееана.

С этой же точки зрения русский Гамлет, восходящий к трагедии XVI века о датском принце, гораздо содержательнее русского «Фауста», восходящего к гетевской интерпретации образа «ученого доктора».

Между тем гениальный художник и великий мыслитель Гете, казалось бы, имел все основания войти гораздо ближе в круговорот русской общественной мысли XIX века. Этого однако не произошло, и объяснение этого явления остается, к сожалению, до сих пор единственной проблемой русской гетееаны.

Среди крупных русских художников и мыслителей второй половины XIX века лишь для Толстого Гете и его мировоззрение были живой, жизненной проблемой. В течение всей своей жизни Толстой читал и перечитывал Гете, явно проверяя на нем свое собственное мировоззрение, и в конце жизни в краткой формуле вскрыл основу своего отрицательного отношения к Гете. Эта формула гласила: «Гете чужд и враждебен мне, ибо он—язычник».

Это была, таким образом, борьба жизнеотрицающей идеологии помещичье-крестьянской России с жизнеутверждающим мировоззрением идеолога буржуазного восхождения.

На противоположном полюсе русской общественной мысли демократ и революционер Чернышевский, наоборот, нашел в язычестве Гете родственную себе и ценную для нового мировоззрения черту. Когда Чернышевский из далекой Сибири хотел передать своим сыновьям в возможно более кратких словах общие основы своего мирозерцания, он сослался на Фейербаха как своего учителя философии и на «Коринфскую невесту» Гете как на формулировку своего собственного отношения к миру.

«Хотите,—писал Чернышевский,—не только знать, что думаю я, но и то, что чувствую я?—то прочтите не «Фауста» Гете, нет, это писано с точки зрения чрез-

мерно устарелой,—но «Коринфскую невесту» Гете... Стыжусь, что не знаю всей этой дивной маленькой поэмы наизусть. Читайте ее...»

«Коринфская невеста»—одно из самых ярких воплощений гетевского протеста против жизнеубивающей морали христианства.

Но проблема христианского и языческого мировоззрения, христианской и языческой морали отнюдь не занимала центрального положения в той борьбе на идейном фронте, которой наполнена история XIX века в России. Это была лишь побочная тема, по существу решенная для прогрессивных элементов русской общест-венности уже в 40-х годах. Основной водораздел шел по другой линии.

Центральным вопросом русской общественной мысли, начиная с эпохи декабри-стов, был вопрос о том, удастся ли господствующим классам наладить в России компромисс между крепостничеством и интересами капиталистического развития страны. Этот компромисс все время налаживали сверху и он все время разлаживался снизу.

Общественную значимость, жизненную ценность могли приобрести в ходе борьбы сторонников и врагов этого компромисса лишь те идейные и художественные системы, которые могли послужить оружием в руках борющихся групп. Борьба эта в тече-ние всего XIX века носила столь напряженный и острый характер, что для «ней-тралитета» почти не оставалось места. Тот или иной европейский мыслитель или художник воспринимался в этой атмосфере лишь как враг или союзник.

Кем же был Гете и чем была его художественно-философская система с этой точки зрения? Это было живое, окруженное сияющим нимбом воплощение компро-мисса буржуазии с феодализмом.

Личная практика Вольфганга фон Гете, сына франкфуртского патриция, став-шего министром веймарского герцога, как нельзя более соответствовала этому восприятию. Его прославление гармонии, порядка, меры, закона в мире, в котором начатки капиталистических противоречий и эксплуатации переплетались в безобраз-ном клубке с остатками противоречий и насилий феодализма, его резкое отталки-вание от всяких проявлений крайности, его отвращение от Великой французской революции не могли не восприниматься в напряженной идейной атмосфере русской критики и публицистики как нечто глубоко чуждое и враждебное.

«Он великий человек,—писал о Гете Белинский,—я благоговею перед его гением, но тем не менее я терпеть его не могу... К Гете я начинаю чувствовать род не-навиости». Примирившийся с феодалами бывший бунтарь-буржуа был наиболее нена-вистной фигурой для всей передовой русской журналистики на всем протяжении XIX века, а Гете давал все основания зачислить его в этот разряд.

Что же касается апологетов компромисса крепостников и буржуа, то для них и для их дела поэзия Гете была попросту не нужна. Более или менее развитая философия подобного компромисса вообще начала складываться только в самом кон-це XIX века и лишь после революции 1905 г. получила более или менее «евро-пейское» оформление. Нет сомнения, что в рамках этой философии нашла бы себе место и буржуазная концепция гетевского творчества, и Россия получила бы буржу-азную гетeanу, если бы... если бы буржуазии вообще в России было суждено за-кончить свое буржуазное дело.

Итак для разночинной интеллигенции России XIX века, в той или другой степени отражавшей революционный протест крестьянских масс против налаживавшегося сверху компромисса крепостников и буржуа, мировоззрение зрелого Гете, его обще-ственная и художественная практика не только не могли служить орудием утвер-ждения и укрепления своих позиций, но наоборот—были воплощением той имен-но системы, против торжества которой направлена была вся их умственная энергия. Сторонники же компромисса были слишком мало культурны, чтобы искать именно у Гете идеологической оболочки своих практических дел.

Гегемония в этом лагере принадлежала, как и в политике, не буржуа, а феодалам, и поэзия Гете, в которой было слишком много элементов от восходящей буржуазии, была для их задач малопригодна. Византийская мистика распятого Христа и сла-вянофильские схемы самобытности и богоизбранности закабаленного русского му-жика были для этого лагеря гораздо более подходящим идеологическим облачением, чем проникнутая рационализмом и диалектикой поэзия Гете.

Возвыситься над противоречиями Гете, понять его критически, переработать его наследство, воспринять живые черты последнего мог только новый класс, воору-женный иным пониманием мира, чем русская разночинная интеллигенция XIX века.

Русские марксисты чувствовали, что их не может удовлетворить ни буржуазная апология Гете, ни нигилистическое «отрицание его». Но раньше, чем добаться до Гете, марксистская мысль должна была разрешить много других задач, и для нее—

вплоть до завоевания власти пролетариатом—Гете не мог быть ни предметом пристального изучения, ни боевым союзником. Однако предчувствие новой постановки вопроса о Гете сказывается в немногочисленных высказываниях русских марксистов, связанных с Гете.

Рекомендуя вниманию читателей старую книгу Шахова «Гете и его время», Плеханов писал: «Шахов ограничен своим временем и смотрит на Гете глазами русского шестидесятника... Книгу Шахова можно с благодарностью принять, но только с тем ограничением, что индивидуальность Гете должна быть заново изучена и обязательно в разрез с устаревшим мнением»...

Это изучение выпадает на долю уже нового поколения работников пролетарской культуры.

Л. Каменев

I

Когда Гете впервые стал известен в России, он не был еще ни олимпийцем, ни тайным советником герцогства Веймарского, а был вчерашним франкфуртским адвокатом, только что получившим милостивое приглашение меценатствующего Карла-Августа, даже не возведенным еще в дворянское достоинство, и прежде всего был автором «Вертера», в котором он дал портрет слабого и безвольного немецкого бюргера кануна Великой французской революции.

Портрет этот был настолько социально типичен, что встретил самый живой и горячий отклик не только в Германии, но и за рубежом, у тех слоев городской буржуазии и буржуазной интеллигенции, которые, разуверившись в героических лозунгах эпохи просвещения, капитулировали перед действительностью, замыкаясь в кругу своих личных переживаний, уходя в мир эмоций, в иррационализм, в пассивное скорбничество.

Не мог образ Вертера остаться незамеченным и в России¹. Как раз в эту эпоху начинает резко меняться культурно-бытовая и идейно-психологическая физиономия русского общества, и в его составе возникают отдельные социальные группировки, по своей общей настроенности близкие хозяйственно неокрепшему и политически отсталому немецкому бюргерству. Правда, условия образования этих группировок и даже причины их возникновения были здесь другие, нежели в Германии. Основным источником классовых сдвигов, переживаемых русским обществом в конце XVIII в., был как раз отчетливо тогда уже намечающийся кризис старого феодально-барщинного хозяйства и интенсивный рост удельного веса капиталистических форм в экономике страны. Эти изменения в области хозяйственной обстановки ведут к тому, что современное дворянство распадается на две группы, во многом отличные по своим классовым признакам. Основное ядро первой группы образует крупнопоместное дворянство, располагающее достаточно солидной материальной базой, чтобы без особых усилий и трудностей приспособиться к условиям товарно-капиталистического хозяйства. В составе второй группы объединяется дворянство среднее и мелкое, такой базы не имеющее и поэтому чувствующее себя в безвыходном положении, в тупике. Отдельные его представители, правда, ищут выхода и находят его в политических преобразованиях, прежде всего направленных к облегчению возможности пользования вольнонаемным трудом, т. е. к отмене крепостного права. Но прежде чем эти радикальные тенденции становятся достоянием сколько-нибудь широких кругов дворянской массы, проходит еще достаточное количество времени, а пока чувство безысходности доминирует в общей гамме ее эмоциональных переживаний. В недрах этой-то вот группы те настроения, сконцентриро-

ванным сгустком которых явился «Вертер», и получают наибольшее распространение.

Политическая окраска раннего русского вертерианства характеризуется таким образом определенной двойственностью. С одной стороны, его носителем является как раз тот общественный слой, который на всем протяжении первых десятилетий XIX в. выступает как слой наиболее передовой по своей политической платформе. Но вместе с тем оно отражает только одну сторону психоидеологии этого общественного слоя: ощущение распада старого жизнеустройства, старого культурно-бытового уклада и ощущение трудности перестройки, трудности приспособления к новой хозяйственной обстановке.

Эта двойственность политической окраски раннего русского вертерианства и является причиной того, что одновременно с ростом и распространением вертерианских настроений растет и оппозиция против них, растут нападки на «Вертера». Исходят они прежде всего от идеологов правого крыла дворянства, считающего, что надвигающийся кризис может и должен быть преодолен в рамках старой феодально-барщинной системы. Такой характер носит например выступление молодого Карамзина, принимающего общий социально-психологический тип Вертера, общий комплекс вертеровских переживаний, но осуждающий его смерть как нелогичную, не вытекающую из обрисованной в романе романической ситуации.

Но нападками такого рода антивертерианское движение в России не ограничивалось. Ведь уже и в Германии «Вертер» осуждался не только с позиций филистерского ханжества. Против него выступал и такой последовательный и законченный идеолог буржуазного восхождения, как Лессинг. Так и в России гораздо более резкий отпор, чем со стороны пессимиста и консерватора Карамзина, встречает Вертер-скорбник, Вертер-самоубийца со стороны левого, радикального крыла низового дворянства, усматривающего единственный выход из создавшегося положения в политических реформах, в борьбе, в действии.

В этом отношении очень симптоматично то почти единодушное молчание о Гете, которое хранят декабристы. В огромном мемуарно-эпистолярном наследии декабризма можно конечно найти несколько десятков случайных упоминаний о нем, несколько попутно приведенных цитат, но не больше. Правда, для декабристской массы вообще характерен довольно последовательный эстетический утилитаризм, с вытекающим отсюда пренебрежительно-поверхностным отношением к «изысканной словесности». В ответах на поставленный следственной комиссией вопрос о том, какие из прочитанных преступниками книг питали их злоумышленные намерения, указания на художественные произведения отсутствуют совершенно, за исключением нескольких ссылок на «вольные» стихотворения, бытовавшие под именем Пушкина. Но редко обращались к Гете и литературные идеологи декабризма. Даже переведший несколько стихотворений из Гете Александр Бестужев ни разу не вспомнил о нем в своих шумевших обозрениях. А когда он коснулся Гете в одной из своих позднейших статей, то за шаблонными фразами о пресловутой гетевской всеобъемлемости очень тонко подчеркнул ту же черту поэтического наследия Гете, которая заставляла декабристов молча проходить мимо него,—его надземность, наджизненность, отсутствие в нем стимулов к практическому действию. Приводим полностью это интересное высказывание: «Тогда же блеснул и Гете, который собрал в себе ярким светом все лучи просвещения Германии,

который воплотил, олицетворил в себе Германию, мечтательную, полужемную Германию, вечно колеблющуюся между картофелем и звездами, Германию, которой половина в пыли феодализма, а другая в облаках отвлеченностей, Германию простодушную до смеха и ученую до слез, Германию всеобъемлющую, вселяющую, всезнающую все, начиная от фиглярства Изидина храма до замыслов Розенкрейцеров, от символизма Зенд-Авесты до магнетизма земли. Все, что создали гении германские для памяти, для умозрения, для воображения, совместились в Гете. Все яркое в мире отразилось в его творениях, все... кроме чувства патриотизма,— и этим он всего более осуществил в себе Германию, которая вынула из человека душу и рассматривала ее отдельно от народной жизни, анатомизировала законы природы без отношения их к человеку»².

Остается конечно еще такой факт, как гетеанские увлечения другого, не менее серьезного и квалифицированного литературного идеолога движения,—гетеанство Кюхельбекера³. Но, во-первых, увлечение это временное, так сказать, юношеское. Из заключения Кюхельбекер ведет непрекращающуюся полемику с Гете, полемику, достигающую иногда очень большой резкости и остроты. А затем—и гетеанство молодого Кюхельбекера настолько специфично, что оно по сути дела не нарушает того общего оппозиционного отношения к Гете, которое характерно для декабристов. Здесь необходимо только учитывать два обстоятельства.

Прежде всего гетеанство Кюхельбекера совершенно определенно связано с его общей активной борьбой против салонно-кружковой эстетики начала века, эстетики дружеских светско-артистических объединений придворно-аристократической верхушки столичного дворянства. Эта салонно-кружковая эстетика с самого начала неизменно идет мимо Гете, в лучшем случае просто не замечая его, в худшем—активно заявляя о своем пренебрежении к нему. Один из наиболее ярких ее представителей—Вяземский, в старости, в 1855 г., посетивший Веймар и побывавший на могиле Гете, в пору своей молодости кажется ни разу не обмолвился о нем. Александр Тургенев тяготел к Гете так же, как тяготел ко всему европейскому вообще, и дружил с ним так же, как дружил с Вальтер Скоттом, с Мериэ, с Мюссе и др.

Жуковский? Но неорганичность гетеанства Жуковского с большой правильностью и зоркостью отметил еще Полевой: «Не должно полагать, чтобы Жуковский глубоко проникал тогда в сущность германской и английской поэзии,—писал Полевой.—Он сам признается, что Гамлета считает чудовищным, уродливым произведением. Так же не мог он постигнуть глубины Гете». А вот Сергей Львович Пушкин, во всем литературном поведении которого эстетический быт русского ампира сгущается почти до гротескных форм, писал прямо: «Тартюф» и «Мизантроп» превосходнее всех нынешних трилогий. Не опасаясь гнева романтиков и несмотря на строгую критику Шлегеля, скажу искренне, что я предпочитаю Мольера, Гете и Расина Шиллеру»⁴. Но Мольер и Расин были ведь только авторитетами, пышными украшениями. А что противостояло Гете в реальном литературном обиходе кружков и салонов столичного барства? Легкие стихотворные сказки и альбомные мадригалы, эпиграммы и анекдоты, стихотворные шарady и буримы. При таком положении вещей обращение к Гете Кюхельбекера—борца за монументальные, социально-емкие поэтические формы—приобретает совершенно определенный смысл.

Правда, сказанным не рассеиваются еще все недоумения, связанные с гетеанством Кюхельбекера. Остается еще один, на первый взгляд, темный и труднообъяснимый момент, сложность которого заключается в том, что все симпатии Кюхельбекера привлекает не Гете-бюргер, не Гете франкфуртского периода, а Гете-классик, Гете восьмисотых годов. На первый план им выдвигается таким образом та часть гетевского наследия, которая позднее служила знаменем наиболее реакционных течений русской (как впрочем и европейской) общественной мысли. Однако определенная закономерность есть и здесь. Акцентируя те же самые моменты творчества Гете, вокруг которых сосредоточивали свое внимание, скажем, русские гегелианцы десять лет спустя, Кюхельбекер осмысливал их совершенно иначе. Для него всеобъемлемость позднего Гете отнюдь не была равнозначна всеприемлемости и всепримиренности, как в тридцатых годах рисовалось это Бакунину или молодому Белинскому. Она была для него лишь знаком жизненной полноты и зрелости. Если вспомнить теперь, что в русском литературном сознании восьмисотых годов ранний Гете был канонизован не как идеолог прогрессивного бюргерства, а в первую очередь как поэт ущербных, скорбнических настроений, то сознательное тяготение Кюхельбекера к Гете—автору «Фауста» становится понятным. Тем самым он пытался нейтрализовать вертерианский уклон в гетеанстве, нейтрализовать увлечение Гете как проповедника всяческой пассивности и безволия.

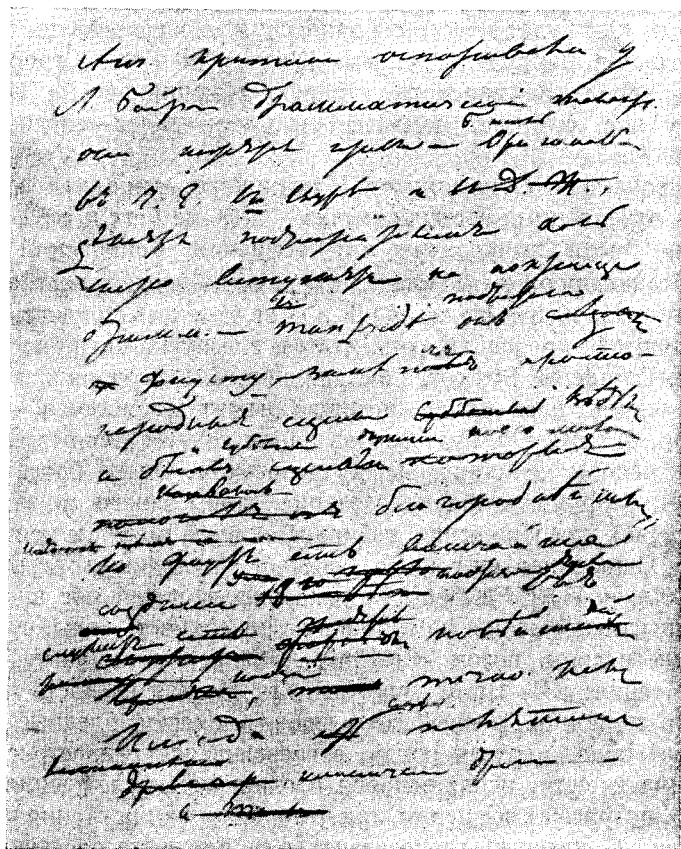
Поворотным в историческом становлении русского гетеанства был 1825 год. Общеизвестно, какое значение имела катастрофа 14 декабря в истории всего общественного сознания той эпохи. Кризис феодально-барщинного хозяйства начала века, породивший декабризм, идет на убыль, крепостной труд снова сказывается хозяйственно эффективнее вольнонаемного. Авангард левого, радикального крыла дворянской интеллигенции теряет поддержку широкой массы низового дворянства и изолированный от нее ликвидируется николаевским правительством при ее равнодушном молчании, а порою даже при ее активном сочувствии. Те немногочисленные интеллигентские ячейки, которые еще хранят черты какой-то оппозиционности, отходят от политической практики в область метафизического философствования, а когда пытаются снова вернуться к земной действительности, то уже не для того, чтобы изменить ее, а чтобы принять и оправдать ее с точки зрения своих заоблачных теорий. Таково основное содержание идейной эволюции дворянской интеллигенции тридцатых-сороковых годов по пути от Шеллинга к Гегелю, эволюции, на протяжении которой имя Гете становится для нее одним из самых близких и популярных.

Уже в эстетике Любомудров имя Гете затмевает все остальные. Переводами из Гете и толкованием отдельных сторон его поэтического и философского наследия занимаются Веневитинов, Погодин, Рожалин, Тютчев, Шевырев, при чем на первом плане у всех у них стоит уже не Гете периода «бурных стремлений», а зрелый Гете, Гете—автор «Фауста», открывающий самое широкое поле для всяческой спекуляции и метафизирования.

Култ Гете, установившийся у Любомудров, растет и ширится в философских кружках сороковых годов. «Знание Гете, особенно второй части «Фауста» (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что она труднее ее), было только же обязательно, как иметь платье», писал позднее Герцен⁵, характеризуя нормы литературного поведения русских гегелианцев той поры. Прекрасная иллюстрация к этому герценовскому положению—

эпистолярное наследие Станкевича, являвшегося одной из центральных фигур интеллектуального движения эпохи.

Он вспоминает Гете ежеминутно, по всякому поводу и часто даже вообще без повода. Он вспоминает мелочи своего детства, и тотчас ему приходит в голову Гете: «...бывало, ставишь мельнички на канавах, пропускаешь воду, смотришь, как идет река, как начинает прилетать дичь—вся будущность, счастливая будущность прогулок по лесу, по лугу, видится в перспективе—и эти ожидания придают какую-то таинственную прелесть на-



Автограф заметки Пушкина о Байроне (1827)

В заметке следующие строки: «...Фауст есть величайшее создание поэтического духа, он служит представителем новейшей поэзии, точно как Илиада служит памятником классической древности»

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

стоящему. Гете жаловался, что на него в Италии незначительные, но знакомые предметы действовали больше, нежели прекрасное, которое он видел в первый раз. Но такому человеку стоило сознать в себе какую-нибудь вредную особенность, чтобы она у него исчезла, не то с нами. Сколько явлений в природе, сколько прекрасной музыки нравится нам по воспоминанию»⁶.

В Риме он наслаждается памятниками классического искусства и—опять Гете: «Гете, посмотрев на творение Микель-Анджело, чувствовал, что не мог таким сильным взглядом смотреть на природу, и от этого в ту

минуту она ему не доставляла наслаждения. Правда, есть что-то уничтожительное в этой гигантской силе; но смею ли это сказать?»⁷

О Гете вспоминает он, осматривая Пантеон: «Создание, умение нужны для духовных наслаждений. Только не надо учиться этому целую жизнь: сознал раз—и марш в божий мир. Как чувствовал Гете, что мы много, слишком много готовимся к жизни и не успеваем жить? Он чувствовал это, а мы прочие?!»⁸

Иногда эта манера постоянно оглядываться на Гете доходит до смешного. Он готовится к отъезду из Дрездена в Лейпциг и вспоминает, что дни, наполненные такими приготовлениями, Гете вычеркивал из жизни⁹. Он мечтает о том, как будет вместе с Грановским издавать журнал, и не может обойтись без параллели: «...мы—Шиллер и Гете, Строганов—наш покровитель вроде Веймарского герцога, Ключников, за недостатком остроумия у нас, сочиняет нам Xenien, и так далее—словом, сходство совершенное»¹⁰.

Кстати о только что упомянутом Ключникове—тоже человек, вполне повидимому отравленный гетеанским ядом. «Кроме Гете и себя не говорит он ни о чем», писал Станкевичу о его посещениях Грановский¹¹.

Говорит Станкевич о Гете не иначе, как захлебываясь от восторга. «Вчера я читал Гете с Марьей Афанасьевной... Мне хотелось показать ей Гете с разных сторон. Я прочел ей, разумеется с выпусками, во-первых, «Der Gott und die Bajadere». Это создание удивило ее! Она не ожидала этого от Гете. Идея всезидущей любви, которою дышит эта легенда,—ей родная с давних пор. Я тоже как будто вновь понял ее! «Kenner des Grossen und Tiefen», как человек действует между человеком. Он не бросает перунов с неба, чтобы разрушить падшее создание, чтобы зажечь жизнь прекрасную, но орудием преображения избирает земных могучих деятелей—любовь и горе. Очищенная ими жизнь отлетает к источнику жизни. За этим я прочел балладу «Der Fischer», где выразилось печальное влечение, которое мы испытываем, глядя на спокойную поверхность воды, отражающей небо в своих недрах, потом «Erkönig», «Sänger» и наконец гигантское порождение гения: «Die Braut von Korinth». Нельзя не пасть перед Гете, прочитав это создание! Грозный союз любви и смерти, бледные уста, пьющие кровавое вино, мертвая грудь, согреваемая сладострастным пламенем, и сила юности, испарившаяся в один миг наслаждения,—овладевают душою, потрясают все нервы, так что по окончании чтения чувствуешь странный покой, который господствует в природе после ночной грозы, когда туча перешла на другую половину неба, звезды едва начинают блистать, освобождаясь из-под ее покрыва»¹².

В 1838 г. Станкевич вместе с Неверовым посетил Веймар, и оба оставили описания этого посещения, описания, благоговейные до приторности. Вот куски из письма Станкевича сестрам: «Вот вам домик с зелеными решетчатыми ставнями, покрытый черепицею, домик, в котором жил Шиллер. На другом листке вы видели, верно, дом Гете. Эти люди собрались в Веймаре около великого герцога, который любил их от всей души... Они вели блаженную жизнь... Но главное, что здесь нас утешило,—это внутренность гетева жилища. Какая богатая интересная жизнь! Тут мы нашли множество слепков со статуй, множество рисунков, медалей, минералогическое собрание—он все знал, всем занимался...»¹³ В тех же тонах письмо сестрам, писанное месяцем позднее: «...На другой день мы смотрели его жилище, собрание статуй, минералов и, что всего дороже, его cabinet d'études,

где лежали манускрипты его сочинений. Как жадно смотреть на них, как хочется уловить душевное его волнение в каждой, едва заметной черте, наконец мы видим спальню его, постель, кресло и последнее лекарство; еще перед этим мы посетили гроб его. Он стоит рядом с Шиллером в фамильной могиле великих герцогов»¹⁴.

Описание, сделанное Невёровым, пространнее, обильнее деталями, но не менее благоговейно и почтительно¹⁵.

Более трезво относится к Гете другой идеолог молодой России—Грановский. Он по крайней мере находил еще в себе достаточно трезвости, чтобы проявлять порою какой-то хотя бы элементарный критицизм в оценке гетевского наследия. Так в 1841 г. он пишет невесте: «Я оставил тебе два тома Гете, в котором ты найдешь «Геца фон Берлихингена» и «Эгмонта». Я хотел бы читать их вместе с тобой, но если тебе нечего читать, читай их одна. Что касается других вещей, помещенных в этом томе, это—случайные вещи, без какой бы то ни было поэтической ценности, и я тебя попрошу оставить их в стороне»¹⁶. Но удельный вес Гете в его интеллектуальном багаже нисколько не меньше, чем у Станкевича. В его дружеской переписке имя Гете фигурирует не менее часто. Еще в 1838 г., под влиянием чтения переписки Гете с Шиллером, он собирался писать «литературную историю Веймара от приезда туда Гете до его смерти» и отложил эту работу только потому, что нашел, что пока «дорос только до биографии, внешне-исторической части подобного труда»¹⁷. В 1840 г. он читает «Западно-восточный Диван», находя здесь «чудесные вещи, которые прежде не понимал и не мог понять»¹⁸.

В этом же году посылает сестрам перевод «Вертера», расценивая его как «одно из лучших произведений Гете»¹⁹. В 1841 г. посылает Кромиде французский перевод гетева театра, особо советуя при этом обратить внимание на «Геца», «Эгмонта», «Смерть Тассо», «Ифигению», «Клавиго»²⁰. Целых пятнадцать лет спустя, за несколько месяцев до смерти, он снова возвращается к Гете, вспомнив во время одного из ночных философических разговоров его взгляд на бессмертие, высказанный в беседах с Эккерманом. «Для меня,—продолжал Грановский,—относительно подобных вопросов важны мнения замечательных людей. Для меня—это отдельные огоньки, из которых в будущем загорятся новые веяния для человечества»²¹.

Куль Гете процветает также в семействе Бакуниных. Сестры Бакунина вместе с ним переводят переписку Гете с Беттиной фон Арним, и на память об этом Бакунин дарит им «Дневник Беттины» с характерной надписью: «На память 1837-го года Любаше, Вариньке, Танюше и Саше в память того бурного и вместе прекрасного года, в котором мы вместе ее переводили. М. Бакунин. 1838—18-го сентября. с. Премухино». Внизу—текст из евангелия: «И познаете истинну и истинна освободит вас». «Кто не родится снова, тот не может увидеть царствия Божия». «Станем любить друг друга, ибо Любовь от Бога, и всякий, кто любит, рожден от Бога и знает Бога, ибо Бог есть любовь». На обороте под рисунком, изображающим Гете в гробу, эпиграф из «Фауста» II: «Nur der verdient die Liebe wie die Freiheit, Der täglich sie erobern muss», с характерным изменением подлинного текста: «Только тот заслуживает л ю б о в ь и с в о б о д у (у Гете: «с в о б о д у и ж и з н ь»)—die Freiheit und das Leben», кто ежедневно должен их завоевывать» (сообщено В. М. Жирмунским).

Станкевич этого увлечения «Перепиской Беттины» между прочим не разделял. Он находил у Беттины «много фантазии», считал, что у нее

«есть изумительно верные мысли, но все так фигурно, нервно и через это однообразно и неестественно. Она была точно одушевлена, когда писала, но я знаю этот род одушевления: источник его не глубок. Фантазия много говорит истинного, но фантазия фантазирует часто собою, играет сама с собою, любит в зеркале, отсюда кокетство в одушевлении»²². Невесту он предостерегает от этого увлечения: «Что за рассуждения внушила вам Беттина? Неужели вы думаете, что истина и простота обыкновеннее этой, так называемой гениальности? А эта истина и простота—есть она в Беттине?.. Довольно ли, чтоб уверить вас, что душа, полная любви, носящая тихо в себе сочувствие ко всему прекрасному, умеющая находить и ценить его вокруг себя в семействе, в людях, выше этой гениальности и заключает в себе прелесть, которой та всегда останется чуждою? И кто же способнее Гете был бы оценить это простое величие, которого он искал, которого он был выражением в жизни и в творениях?»²³ В Берлине Станкевич познакомился с Беттиной и рассказал ей о Бакунине как переводчике ее «Писем»; в случае приезда Бакунина в Берлин он обещает ему покровительство Беттины и ее мужа²⁴.

В 1837 г. появился русский перевод книги Менцеля. Русской литературной общественностью тридцатых годов он был встречен вообще отрицательно. Еще шесть лет назад, реферируя основные положения Менцеля в «Сыне Отечества», переводчик снабдил свое изложение целым рядом характерных оговорок. Признавая правомерность исходных оснований менцелевской критики, переводчик находит, что его порицания Гете «могли бы быть легче и снисходительнее», что автор «не беспристрастно хвалит Шиллера, умалчивая о его несовершенствах, и с некоторой несправедливостью восхваляет слабую сторону Гете, не показывая многих его достоинств»²⁵. Гораздо категоричнее были отзывы рецензентов этого нового издания: Полевого, безусловно осудившего книгу как «самое дерзкое и хвастливое порицание того, что только делали до сих пор немцы, духа, в котором они действовали и характера литературы, ими образованной»²⁶, Губера²⁷ и других.

Но ничьи возражения и упреки Менцелю не носят такого страстного и резкого характера, как отзывы идеологов русского гегелианства. Уже упоминавшийся выше Неверов писал например: «...популярность Менцеля похожа на знаменитость моськи; дерзость—вот ее главный источник...». Рассматривая внимательно Менцеля с той стороны, с которой он наиболее приобрел себе известность, именно в его выпадах против Гете, решительно не понимаешь, что это такое—действительная или поддельная слепота, злость или просто мелочное удовольствие блеснуть новизною. Гете, этого колосса, лишать титула гения, утвержденного за ним всем образованным миром, низводя его не только на степень таланта, но даже ниже, видеть в нем просто ловкого литератора,—нет, так смел не может быть писатель, умевший написать четыре тома остроумных, иногда метких критических заметок, заставивший всю литературную Германию трепетать под критическим ножом своим. Это просто злость и вместе желание произвести эффект, чего ему никогда не удалось бы сделать трудом совестливым, потому что у него нет ни убеждений, ни учености»²⁸.

Другим откликом московских гегелианцев на книгу Менцеля была статья Белинского, которой нам придется еще касаться. Здесь отметим только, что нападки Менцеля на Гете квалифицируются Белинским как «дерзкие и наглые»²⁹, а сам Менцель уподобляется пауку из басни Крылова: паук

Реакционная концепция Гете-олимпийца, фундамент которой был заложен еще Любомудрами, дана здесь в максимально обнаженной форме и доведена до своего логического предела. Следующий этап в истории русского гетеанства знаменует собою уже начало борьбы против этой концепции, борьбы за подлинного, исторически понятого Гете, очищенного от реакционной гегелианской шелухи. В качестве зачинателя этой борьбы выступает Белинский.

II

«Боже мой, какие прыжки, какие зигзаги в развитии! Страшно подумать!» писал Белинский Боткину на исходе 1840 г. Слова эти Белинский относил, собственно говоря, ко всей идейной эволюции, пережитой им за первые десять лет своей литературной работы. Но сказаны они были по конкретному поводу. Ими закончил он следующее признание: «О Шиллере не могу и думать, не задыхаясь, а к Гете начинаю чувствовать род ненависти, и, ей-богу, у меня рука не подымется против Менцеля, хотя сей муж и попрежнему остается в глазах моих идиотом»³³.

Действительно ни для кого быть может из русских критиков поэтическое и философское наследие Гете не служило объектом таких длительных и сосредоточенных размышлений, как для Белинского, и никто в результате этих размышлений не приходил к таким противоречивым, исключаящим друг друга выводам. Вообще эволюция философских и литературных воззрений Белинского была катастрофична по своей скачкообразности и зигзагообразности. Но даже учитывая эту ее особенность, трудно себе представить всю пестроту и сложность его суждений о Гете.

Но какая-то закономерность есть однако и в этой пестроте. Чтобы понять сложность той обстановки, в которой приходилось Белинскому осмысливать гетевское наследие, необходимо прежде всего учесть то обстоятельство, что Гете, как мы уже указывали, был одним из фетишей русского гегелианства сороковых годов. Сам Белинский, в полной мере отдавший дань гегелианским увлечениям бакунинского круга, на известном этапе своего жизненного пути полностью подчинивший свое мирозерцание идеологическим нормам гегелианства, не избежал и этой фетишизации Гете как творца поэтической системы, эквивалентной философской системе Гегеля.

Правда, еще в «Литературных мечтаниях» он посягнул однажды на непогрешимость Гете, усумнившись в творческой искренности его «Ифигении». Но, во-первых, высказывая это сомнение, он исходил не столько из самой «Ифигении», сколько из априорного положения о том, что «чем выше гений, тем более он сын своего века и гражданин своего мира, и подобные попытки с его стороны выразить совершенно ему чуждую народность везде предполагают подделку более или менее неудачную»³⁴. О самой «Ифигении» он знал повидимому тогда только еще понаслышке, как понаслышке судил и о творчестве Гете вообще. «Я свято верю в гениальность Гете, хотя по незнанию немецкого языка чрезвычайно мало знаком с ним»³⁵, признавался он в тех же «Литературных мечтаниях». Во-вторых, оппозиция, как видим, была довольно робкой. А в-третьих, и эта робкая оппозиция, кроме приведенного случая, не проявилась ни разу.

Наоборот, все другие суждения Белинского о Гете, высказанные им в годы молодости, неизменно тяготеют к тому центральному положению, которое выдвинул он в 1838 г. в статье о Менцеле: «Менцель зол на Гете

за то, что тот не хотел быть ни крикуном, ни начальником какой-либо политической партии, что он не требовал невозможного сплочения Германии в одно политическое тело. У гения всегда есть инстинкт истины и действительности; что есть, то для него разумно, необходимо и действительно, а что разумно, необходимо и действительно, то только и есть. Поэтому Гете не требовал и не хотел невозможного, но любил наслаждаться необходимо сущим»³⁶.

Эта формула стоит за всеми теми неумеренно-патетическими эпитетами, которыми пестрят статьи Белинского тридцатых годов, когда заходит речь о Гете. Гете—«всеобъемлющий исполин», «Фауст» Гете есть Илиада нашего времени», «Гете—вот Гомер, вот прототип поэта нашего времени». «Здоровая и нормальная поэзия Гете» в этот период до конца противостоит в его сознании «призрачному миру Гофмана и Шиллера»³⁷.

Даже те стороны личной биографии Гете, которые позднее подверглись с его стороны таким яростным нападкам, пока что полностью оправдываются им. «Богатство Гете зависело не столько от его литературной деятельности, сколько от особенного стечения обстоятельств», писал он в 1837 г. «Не всякому, как Гете, удастся выхлопотать у всех немецких правительств привилегию контрафакций и таким образом сделаться монополистом своих произведений; а без этой меры немецкий литератор не разбогатеет... Да, гения не убивает обаяние выгоды... Чем платит Гете своим высоким ласкателям? Двустышьями на балы, глухими мадригалами, а не «Вертером», не «Вильгельмом Мейстером», не «Фаустом»³⁸.

Первым проявлением оппозиции Белинского реакционно-идеалистической гетеане-гегелианских кружков было его выступление против второй части «Фауста», о которой сам он следующим образом рассказывает в одном из своих писем Панаеву: «Еще давно, прошлою осенью, узнавши нечто из содержания 2 части «Фауста», я с свойственной мне откровенностью и громогласностью провозгласил, что она 2 часть не поэзия, а сухая, мертвая, гнилая символика и аллегорика. Сперва на меня смотрели, как на богохульника, а потом как на безумца, который врет, что ему взбредет в праздную голову. Новое поколение гегелистов основало журнал в pendant к берлинскому «Jahrbücher», основанному Гегелем,—«Gallische Jahrbücher». В этом журнале появилась статья некоего гегелиста Фишера о Гете, в которой он доказывает, что 2 часть «Фауста»—мертвая, пошлая символика, а не поэзия, но что 1 часть—великое произведение, хотя и в ней есть непонятные, а потому и непоэтические места, ибо (это то же самое говорил и я) поэзия доступна непосредственному эстетическому чувству, и отнюдь не требуется для уразумения художественных произведений посвящения в таинства философии, и что все непонятное в ней принадлежит к области символизма и аллегории. Фишер разбирает все разборы «Фауста» и нещадно издевается над ними; достается от него и первому поколению гегелистов, которые, говорят, ослепленные ярким светом гегелевской философии, пустились сгоряча все подводить под нее, и во 2 части «Фауста» особенно мнили видеть полное осуществление системы Гегеля в сфере искусства. Больше всех срезался Марбах, который в своей действительно прекрасной популярной книге напорол о 2 части «Фауста» такой дичи, что Боткин, прекрасно переведший из нее большой отрывок, ничего не понял и, когда хотел поместить этот отрывок в «Наблюдателя», то принужден был вычеркнуть большую часть того, что сказано там о 2 части «Фауста», которую Марбах называет «Книгою с семью

печатями» для непосвященных. Каково срезались ребята-то? И каков я молодец!»³⁹

Оппозиция эта была не такой робкой, как может это показаться на первый взгляд. Вторая часть «Фауста» была евангелием гегелианцев и осудить ее—значило не просто разойтись с ним в одном частном вопросе, а разойтись в основном, в важнейшем. А кроме того Белинский ведь осуждал здесь не только вторую часть «Фауста»,—он брал под сомнение исходные методологические основы той интерпретации Гете, которую давал ему бакунинский круг. Свое мнение о «Фаусте» он мог еще и изменить и действительно изменил. Сначала, когда нашел законным и правомерным существование «рефлектированной» поэзии. Об этом в декабре 1840 г. он писал Боткину: «Я решил для себя важный вопрос. Есть поэзия художественная (высшее—Гомер, Шекспир, Вальтер Скотт, Купер, Байрон, Шиллер, Гете, Пушкин, Гоголь); есть поэзия религиозная (Шиллер, Жан Поль, Винтер, Гофман, сам Гете); есть поэзия философская («Фауст», «Прометей», отчасти «Манфред» и проч.). Между ними нельзя положить определенных границ, потому что они не пребывают в равнодушии одна к другой, но как элемент входят одна в другую, взаимно модифицируя друг друга. Слава Богу, наконец всем нашлось место». Позднее, когда признал, что «Фауст» является «полным отражением всей жизни современного ему немецкого общества», что «в нем выразилось все философское движение Германии в конце прошлого столетия»⁴⁰.

Расхождение касалось не одного произведения Гете, хотя бы и центрального. Оно было глубже и принципиальнее. Это становится особенно очевидным, когда позднее Белинский поднимает голос против той метафизации Гете, которая лежала в основе гегелианской концепции его творчества, восстает против самого существа этой концепции, восстает против образа «всеобъемлющего» Гете, созданного им в годы его гегелианских увлечений. Характерна в этом плане его оценка элегии Боратынского «На смерть Гете». Белинский пишет:

«На смерть Гете» есть одно из лучших между мелкими стихотворениями Боратынского. Стихи в нем удивительны; но стихотворение, несмотря на то, не выдержано и потому не производит того впечатления, какого бы можно было ожидать от таких чудесных стихов. Причина этого очевидна: неопределенность идеи, неверность в содержании. Поэт слишком много и слишком бездоказательно приписал Гете, говоря, что

...ничто не оставлено им
Под солнцем живым без привета;
На все отзывался он сердцем своим,
Что просит у сердца ответа;
Крылатою мыслью он мир облетел,
В одном беспредельном нашел он предел.

Прекрасно сказано, но несправедливо! Не было, нет и не будет никогда гения, который бы один все постиг или все сделал. Так и для Гете существовала целая сторона жизни, которая, по его немецкой натуре, осталась для него *terra incognita*. Эту сторону выразил Шиллер. Оба эти поэта знали цену один другому, и каждый из них умел другому воздавать должное. Обидно видеть, как люди, не понимая дела, все отдают Гете, все отнимая у Шиллера... Если уж надо сравнивать друг с другом этих поэтов, то, право, еще нерешенное дело—кто из них долее будет владычествовать в

нию. Гете, по моему мнению, был воплощением такого эгоизма. Вникните в характер Эгмонта, и вы увидите, что это лицо играет святыми чувствами, как предметом возвышенного духовного наслаждения, но они, эти святы чувства, вне его и не присущны его натуре. «Как сладостна привычка к жизни!» восклицает он, и на это восклицание хочется мне воскликнуть ему: «Какой же ты пошляк, о, голландский герой!» Гофман саркастически заставляет Кота Мурра цитовать это восклицание, достойное кошачьей натуры, которая может видеть «сладостную привычку» в том таинстве жизни, в котором непосредственно открывает себя людям бог. Для Эгмонта патриотизм не более, как вкусное блюдо на пиру жизни, а не религиозное чувство. Святая натура и великая душа Шиллера, закаленная в огне древней гражданственности, никогда бы не могла породить такого гнилого идеала самоослабляющейся личности, играющей святым и великим жизни. На созерцание эгоистической натуры Гете особенно навела меня статья во 2 № «Отечественных Записок» — «Гете и графиня Штольберг». Гете любит девушку, любим ею, — и что же? Он играет этой любовью. Для него важны ощущения, возбужденные в нем предметом любви: он их анализирует, воспекает в стихах, носится с ними, как курица с яйцом; но личность предмета любви для него — ничто, и он борется с своим чувством и побеждает его из угождения мерзкой сестре своей и «дражайшим» родителям. Девушка потом умирает, — и ни один стих Гете, ни одно слово его во всю остальную жизнь не напомнило о милой, поэтичной Лили, которая так любила этого великого эгоиста. Вот он — идеализированный, опозитизированный холодный эгоизм внутренней жизни, который дорожит только собою, своими ощущениями, не думая о тех, кто возбудил их в нем, как ростовщик дорожит своими процентами, не думая о тех, которые, может быть, ценою кровавых слез принесли ему их»⁴³.

Фактом биографии Гете, одним из отрицательных свойств его личности, явившимся результатом его «слишком немецкой натуры», объявляет теперь Белинский и его «всепримиренность», его стремление стать над действительностью и выше действительности. Образ Гете-олимпийца, в котором идеально осуществилось гармоническое единство человека и поэта, оказывается теперь таким образом окончательно ниспровергнутым. В сознании зрелого Белинского, прошедшего свой путь от Гегеля к Фейербаху, Гете-поэт не сливается гармонически с Гете-человеком, а противостоит ему. «В Гете должно отличать человека от художника; Гете был великим художником, но человек он был самый обыкновенный», писал Белинский за два года до смерти. «Не искусство, а его личный характер заставляли его вечно тереться между сильными земли, жить и дышать милостыней их улыбок, равно как и оказывать самое холодное невнимание ко всему, что не касалось до него лично, что могло возмутить его юпитеровское, говоря поэтически, и эгоистическое, говоря прозаически, спокойствие. И потому равнодушные Гете к живым вопросам современной ему истории не имеет ничего общего с искусством; искусство и не думало обязывать его в свою пользу безнравственным равнодушием такого рода. Но тем не менее Гете как художник, как поэт был вполне сыном своей страны, своего века, вполне выразил собою если не все, то многие из существеннейших сторон современной, ему действительности. Это доказывается его отвращением ко всему отвлеченному, туманному, мистическому, ко всякой, как называет ее Губер, «нездешней» поэзии. Это же доказывается его стремлением ко всему простому, ясному, определенному, здешнему, земному, действительному,

реальному, положительному; его страстным сочувствием природе, которое не только отразилось пантеистическим мирозерцанием в его поэзии, но еще и выразилось с его стороны великими услугами в области естествознания как науки. Как при этом не вспомнить о его живой симпатии к древнему миру среди всеобщего стремления к варварским средним векам, откуда поэзия выносила только невежественные идеи да уродливые образы? И вот причина, почему теперь, в наше время, скептический, холодный Гете в самой Германии в таком же содержании приобретает себе новых читателей и почитателей, в каком пламенный и рыцарственно-благородный Шиллер теряет их со дня на день. Да, в лице Гете искусство служило жизни или, лучше сказать, выражало жизнь; он не мог бы сделать его вспомогательным орудием для какой-нибудь эфемерной партии, но весь гений свой отдал он на помощь великой партии великого века» ⁴⁴.

III

Голос Белинского, предпринявшего критический пересмотр гегелианской концепции Гете, остался одиноком в сороковых годах. Только Герцен, быстро преодолевший свое юношеское увлечение Гете-олимпийцем, «слишком высоким, чтобы иметь какое-либо направление, слишком высоким, чтобы участвовать в этих гомеопатических переворотах» ⁴⁵, откликнулся на построения Белинского, дав в своих «Записках одного молодого человека» саркастический портрет Гете-сановника, тайного советника герцогства Веймарского ⁴⁶.

Эстетическая критика пятидесятых годов если и вспоминает Белинского, то вспоминает его исключительно как оппонента Менцеля, вспоминает о том, как однажды он «возвысил голос в защиту поэта Гете, оскорбленного дидактической критикой Германии» ⁴⁷, умалчивая обо всем, что писал и говорил Белинский на эту тему позднее. Для нее Гете снова предстает в своем старом олимпийском аспекте. «Как ни занимательна жизнь лорда Байрона,—пишет Дружинин,—как ни поучительны приключения Сервантеса или Мольера, биографии великих людей, здесь названных, никогда не будут тем, чем может быть биография веймарского олимпийца—Гете. Поэта, подобного автору «Фауста», нужно знать вполне или не знать вовсе, ибо все, что Гете делал как в литературе, так и в жизни, есть одно последовательное, неслыханно великое творение, вполне созннное и поучительное в мельчайших своих подробностях. Гете велик как поэт, как мыслитель, как практический мудрец; но все эти достоинства могут назваться только частями одного целого. Гете есть целая философия. Гете есть мысль и воплощение века, крепкое звено, связующее прошлое с настоящим, дивное, величавое здание, построенное на том месте, где еще недавно валялись одни обломки. Можно ли освоиться с таким существом так, как осваиваемся с поэтом, хотя и великим, но не столь полным по своему значению?» ⁴⁸

Политический индифферентизм Гете, с такой категоричностью осужденный Белинским, низведенный им до степени факта личной биографии поэта, снова становится объектом патетических восхвалений. «Гете совершенно справедливо отворачивался от мелочных или односторонних, духом партий, а не духом жизни порожденных стремлением современной ему общест-венности, или от неистовых и насильственных напряжений ее, видя отсутствие существенного и неперменного в окружавших его пошлых явлениях и лихорадочных порывах,—пишет Аполлон Григорьев.—Он—иска-

тель существенного и неперменного—имел право уединяться в мире искусства...»²⁹

На ту же тему пишет Боткин: «...И автора «Вертера» упрекали за то, что он был совершенно равнодушным к своей современности. Дело в том, что всякая современность имеет в себе две стороны. Одна состоит из фанатизма, исключительности партий, полных взаимной ненависти, быстро сменяющихся требований и стремлений, из которых каждое сжато дает этой современности название, соответствующее его целям; но другая, истинная, существенная сторона современности, которая перерабатывает всю эту вражду партий и интересов и произносит над ними свой высший, неотразимый суд,—увы!—эта современность с движущей ее мыслью почти всегда остается скрытою от нас. Мы знаем и понимаем ее только в прошедшем, в истории. Гете потому-то и великий поэт, что не увлекался своею современностью, а устремлял взоры свои только в вечные свойства природы, в вечные начала души человеческой»⁵⁰.

То, что Гете «мог петь, делать свое дело и кончать свое поприще посреди всякой Германии, какая бы она ни была»⁵¹, ставил ему в особую заслугу Дружинин. И с этой точки зрения оправдывается пассивность Гете в освободительном движении 1813—1814 гг., которая особенно часто инкриминировалась ему: «Нам кажется, что русская кровь и русские пушки были в этом деле полезнее брошюр Арнта, гимнов Кернера и всего литературного стремления к прелестям древней Германии. И Гете, который во время славной войны, конечно, сердцем своим был с воинами своей родины, но песнями своими не примыкал к ряду Тиртеев-романтиков, нам кажется правым как нельзя более. Своим светлым умом он распознавал бессилие своих собратий, их расчет на увлечение минуты, их детскую заносчивость, их способность ликовать до победы, их стремление увлекаться в крайность, их самонадеянность и честолюбие, едва прикрытые возвышенными фразами. Роль поэта, думал Гете (и эту мысль он высказывал в разговоре), состояла в том, чтобы или молча биться за родину, или тихо следить за событиями, не прерывая своих занятий искусством. Кричать, не двигаясь ни шагу, не хотел Гете—его олимпийское величие не согласовалось с таким делом. Затягивать романтическую песнь там, где свистали пули и сталкивались полки, он предоставлял пустым мечтателям»⁵².

И все же удары, нанесенные реакционно-идеалистической гетеане в России Белинским, на Западе—идеологами молодой Германии, были слишком сокрушительными, чтобы после них в образе Гете-олимпийца не осталось никаких трещин. Можно было конечно делать вид, что не замечаешь их. Так именно например и поступал Дружинин, ополчаясь против «мальчишек-неодидактиков», «осмеливавшихся не признавать заслуг Гете». «Вспомните, как недавно целая когорта крошечных, но трескучих поэтиков напала на «ледяной индеферентизм» Гете,—патетически писал он,—как разные сотрудники мелких журналов толковали о том, что «гетевский период поэзии не вернется более», как покойный Гейне, при всей проницательности, серьезно защищал старого поэта, но защищал его такими доводами, которые были обиднее вздорных хулений! Что случилось с трескучими поэтиками и философами неодидактической школы? Куда девались рьяные газетные сотрудники? Как сохранил поэт Гейне убеждения своей молодости? Что творили люди-карлики, осмеливавшиеся метать кусочки грязи в статую того, кто написал «Фауста»? Кусочки грязи не долетели до половины пьедестала и попадали назад, прямо на голову бросавших»⁵³.

Вся эта патетика не меняла положения. У литературных идеологов последнего поколения вымирающей дворянской интеллигенции хватало еще сил на то, чтобы как-то сопротивляться, отступая перед надвигающейся разночинской демократией, первенцом которой был Белинский. Но чтобы до конца удерживать за собой прежние позиции,—для этого уже не оставалось под ногами достаточно твердой почвы. На отношении к авторитетам, в частности к такому авторитету, каким был для поместно-феодальной эстетической культуры Гете, эта историческая ущербность эстетической критики пятидесятих годов сказывается особенно заметно.

И Дружинин, и Боткин, и Аполлон Григорьев, хотя и стоящий в этой группе особняком, но в своих исходных установках солидаризирующийся с ней,—все они благоговееют перед Гете так же, как благоговело перед ним поколение гегелианцев. Но это свое благоговение они часто обставляют такими оговорками, идут на такие компромиссы, на которые никогда не пошел бы ни Станкевич, ни Неверов, ни молодой Бакунин. Дружинин например согласен совершенно вычеркнуть из гетевского наследия «Вильгельма Мейстера». Этот роман, по его мнению, «не будет популярен нигде, кроме Германии—все эти Лаерты, Ярно и другие особы с нечеловеческими именами вечно станут отталкивать от себя современных читателей... Сколько ни хлопочут толкователи, но негерманская публика никак не уживется с этим морем мистицизма и аллегорий, с этими признаниями прекрасных душ, с этими событиями, происходящими не на земле, а где-то вне места и времени, не в человеческой среде, а в каком-то странном мире грез пред-рассветных»⁵⁴. Боткин соглашается выбросить за борт большую часть любовной лирики Гете: «Много прошло времени и медленно шло оно до тех пор, пока в обществе начал осуществляться принцип нравственного достоинства женщины, и новейшая любовная поэзия—именно Гете—есть проявление этого принципа... Но и в этом отношении стихотворения Гете делятся на два отдела: один, и самый большой, принадлежит к прежней эпохе и занимается доридами-пастушками, другой, очень небольшой, представляет истинное и вдохновенно-поэтическое выражение чувства любви»⁵⁵. Аполлона Григорьева, видевшего в Гете «недостижимый идеал объективного лирического поэта», вместе с тем в нем «поражает некоторая фальшь его, утонченная пластичность». «Ифигению» он относит к числу произведений, «всеми похвальных, но никак не читаемых», а о «Римских элегиях» пишет, что «в них высказывается или просто немец-художник в Италии, или человек, напрягающийся по заданной себе наперед мысли до античности чувствования, напрягающийся иногда неловко и даже антипоэтично»⁵⁶.

За всеми этими изъятиями (а их было больше: Дружинин склонен например к тому, чтобы и вторую часть «Фауста» признать ошибкой гения) оставалось одно: схема «всеобъемлющего Гете», постепенно лишавшегося какого-либо конкретного содержания. Следующий этап разночинского наступления окончательно разрушает эту схему.

IV

Идеологи радикального разночинства шестидесятых годов начали почти теми же неумеренными хвалами Гете и неумеренным поклонением ему, какими начал Белинский. Гете—один из властителей дум молодого Чернышевского. «Из мертвых я не сумею назвать никого, кроме Гете, Шиллера (Байрона тоже вероятно бы, но не читал его), Лермонтова. Эти люди—

мои друзья, т. е. я им преданный друг», записывает Чернышевский в своем дневнике 1850 г.⁵⁷ Он повидимому много читает Гете. Произведения Гете для него некая эстетическая норма, мерило, из которого исходит он в оценке произведений других писателей. Письма Бенжамена Констан «очаровывают его так же, как автобиография Гете»⁵⁸. Автобиографию Гете вспоминает он и читая записки Шатобриана⁵⁹. В поле его внимания не только поэтическое наследие Гете, но и его житейская судьба. Раздумывая о неустроенности своей собственной судьбы, он замечает, что «Гете в его годы был одним из первых людей, и это ему неприятно»⁶⁰. Наконец он пишет работу о Гете, и даже не одну, а две. Первая—университетская, для Никитенко, слушателем которого по Петербургскому университету Чернышевский был, имеет своей задачей отвести от него обвинение в эгоизме. Вторая—очевидно полубеллетристическая. «Вздумал написать рассказ о Лизе и Гете, который ввел в то, что писал Никитенке,—только в обширном размере романа», записывает он в том же своем юношеском дневнике⁶¹. И там же далее: «В воскресенье или понедельник начал было писать эпизод из жизни Гете (любовь к Лизе) под названием «Понимание»⁶². Судьба первой работы неизвестна. Вторая осталась неоконченной из-за того, что как раз в это время в «Современнике» начали появляться первые главы перевода «Wahrheit und Dichtung», на материале которой повидимому должен был строиться рассказ»⁶³.

Правда, совпадение с юношескими настроениями Белинского здесь порядка, так сказать, чисто количественного. Молодой Чернышевский не в меньшей степени, чем молодой Белинский, увлечен Гете, но как именно он осмысливает гетевское наследие неизвестно,—материала для каких-либо заключений в этом направлении его юношеские записи не дают; но конечно уж не так, как осмысливал Белинский, не под углом зрения примирения с действительностью. Гете, Шиллер, Байрон, Лермонтов—такое сопоставление имен в гегелианских построениях Белинского было невозможно.

Ближе к Белинскому в этом отношении Писарев, который не только наследует от него общую высокую оценку Гете, но и строит эту оценку, в значительной мере исходя из тех же критериев, из которых исходил молодой Белинский. Гете для Писарева—прежде всего образец идеальной человеческой гармонии: «гениальный поэт, глубокий натуралист, делавший открытия в своей науке, и в то же время светский человек, любезный, живой собеседник, в молодых годах шалун и повеса, баловень женщин, а под конец—счастливый семьянин»⁶⁴.

В дальнейшем однако положение меняется. Свое юношеское благоговение перед Гете оба критика изживают довольно скоро. Те конечные выводы, к которым приходят они в результате пересмотра своих прежних позиций, тоже оказываются в основном сходными. Но в то время как Чернышевский, все дальше и дальше отходя от Гете, неизменно сосредоточивается на тех моментах гетевского наследия, которые он считал положительными, Писарев почти все время полемизирует, и очень резко полемизирует, с тем, что было в психо-идеологическом профиле Гете враждебно разночинскому радикализму шестидесятых годов.

Чернышевский только раз выступил против «всепримлемости» и «всепримиренности» Гете, когда в «Очерках гоголевского периода» писал: «От Гете никому не было ни тепло, ни холодно, он равно приветлив и утонченно деликатен к каждому; к Гете может являться каждый, каковы бы

то ни были его права на нравственное уважение,—уступчивый, мягкий и, в сущности говоря, довольно равнодушный ко всему и ко всем хозяин никого не оскорбит не только явною суровостью, даже ни одним щекотливым намеком»⁶⁵. Это выступление осталось единичным. Позднее он мог восставать против отдельных произведений Гете, мог нападать на «вредную сентиментальность и пустоту содержания «Германа и Доротеи»⁶⁶, мог из всей эпикей Гете оставлять одного «Вертера»⁶⁷. Целый ряд изъятий и исключений допускали здесь, как мы знаем, даже критики эстетической школы, преклонявшиеся перед Гете. В старости он девять десятых всего написанного Гете отметал прочь, но оставшаяся одна десятая оставалась для него «неизмеримо выше всего написанного по-немецки»⁶⁸.

Даже в те годы, когда облик Гете заслоняется в его представлении колоссальной фигурой другого идеолога восходящего немецкого бюргерства, более последовательного и чуждого тех срывов, которыми полон писательский путь Гете,—Лессинга, Чернышевский судит о Гете попрежнему, не только считая его стоящим «несомненно выше своего воспитателя по поэтическому таланту»⁶⁹, но и причисляя его наряду с Лессингом к «двигателям исторического процесса, имевшим прямое влияние на судьбу человечества, стоящим в ряду великих правителей, в одном ряду с Ришелье, Штейном, Робертом Пилем»⁷⁰. В устах Чернышевского такая оценка звучала как высшая похвала.

Правда, он считает, что Лессинг «ближе к нашему веку, чем Гете, взгляд его пронизательнее и глубже, понятие его шире и гуманнее», считает, что «Гете и Шиллер только довершают то, что уже было сделано Лессингом: их слушали, потому что Лессинг заставлял слушать; им сочувствовали, потому что Лессинг заставлял сочувствовать идеям, которые выражали они, и все, что было здорового в их идеях, было им внушено Лессингом»⁷¹.

Но во всем этом характерно одно: то, что Чернышевский ни на минуту не противопоставляет Гете Лессингу, что Гете он воспринимает не как антипода Лессинга, а как его ученика и продолжателя, что здесь, как и всюду, говоря о Гете, он выдвигает на первый план не его «способность извиваться и блюдолизничать», а те прогрессивные элементы, которые были заключены в его творческом наследии.

Другое дело у Писарева. В русской гетеане шестидесятых годов как нигде ярко выразились две струи в развитии разночинского радикализма той эпохи: социалистическая, базирующаяся в области философии на фейербахианстве, а в области политики на французском утопическом социализме, и нигилистская, опирающаяся на вульгарный механистический материализм Бюхнера-Молешотта.

Еще полнее впрочем, чем у Писарева, выразилась точка зрения мелкобуржуазного нигилизма шестидесятых годов в суждениях Варфоломея Зайцева. Зайцев сопоставляет те оценки Гете, которые вынесли ему два идеолога молодой Германии—Гейне и Берне,—и по этому поводу пишет:

«Гейне как поэт часто увлекался мнимым или действительным величием человека до такой степени, что готов был поклоняться ему как божеству... Однажды он даже дошел до того, что называл Гете богом Юпитером и говорил, что искал возле него глазами орла. Если бы не знали, как безотчетно увлекался поэт не только Гете, но и Наполеоном, то приняли бы эти слова за насмешку. Мы бы могли подумать, что он намекает на государственный герб Пруссии и протестантизм, которому была посвящена деятельность тайного советника фон Гете. Увлечение не позволяло поэту

видеть, какая скрывается протестантско-поповская, деспотически-буржуазная личность за этими проявлениями могучего гения, и, как перед Наполеоном, он падал ниц перед саксен-веймарским обер гоф-Юпитером. Берне был пронизательнее, потому что сам не был олимпийцем. Гейне был товарищем Гете по Олимпу, не саксен-веймарскому только. Берне же был простой смертный. Но взамен гения у него было сильно развито стремление к свободе, и в какую бы величественную оболочку не облекалось филистерство и лакейство—он видел его. Никакой туман не застилал его глаз. Будучи сам внутренне свободным человеком, он чуял как бы чутьем душевное рабство какого угодно гения. Он не боялся вступать в бой с самыми закоренелыми понятиями, с самыми грозными авторитетами»⁷².

Обрисовав дальше суть антигетевской позиции Берне, Зайцев продолжает:

«Каким жалким филистером является великий Гете с той стороны, с которой смотрит на него Берне. Как ничтожен и односторонен является он, этот мировой гений, видевший во Французской революции не более как повод написать либретто для оперы. О, какой Klein-Sophta!—остается воскликнуть вместе с Берне... Мировой гений, творец «Фауста» порицает Фихте за то, что он толкует о вещах, про которые должно молчать. Этого мало: он требовал усиления строгости цензурных правил! Но всего этого, может быть, недостаточно? Если так, то стоит заглянуть в его сочинения, особенно стихи, и станет ясно, как день, что всем им недостает следующего общего эпиграфа, взятого из его же дневника: «Присутствие в Карлсбаде ее величества, императрицы австрийской, вызвало некоторые приятные обязанности, и несколько мелких стихов развились в тишине». Таков этот гений, этот творец дьявола и рая, этот певец чистейшей любви и вечной ненависти; таков этот филистер, поставщик комедий и стихов»⁷³.

До таких крайностей Писарев не доходит. Но и для него Гете (вместе с Шиллером) прежде всего—«великие поэты немецкого филистерства». То, чем сказались в их творчестве передовые идеалы эпохи буржуазного восхождения, решительно меркнет перед тем злом, которые принесли они человечеству, «украсив на вечные времена свиную голову немецкого филистерства лавровыми листками бессмертной поэзии». «Благодаря этим двум поэтам немецкий филистер имеет возможность мирить высшие эстетические наслаждения с самой бесцветной пошлостью бюргерского прозябания. Он читает своих великих поэтов и вздыхает над ними, и умиляется, и заводит глаза, как откормленный кот, и остается безнадежным пошляком, и твердо уверен при этом, что он человек и что ничто человеческое ему не чуждо»⁷⁴.

Всего «громادного ума Гете хватило ему», по мнению Писарева, «на то, чтобы блеском своего поэтического мастерства, красотой выражения скрыть пустоту содержания своих творений», убогость их идейной нагрузки. «Чтобы увидеть в самом себе светлый храм, а в окружающей жизни—грязную базарную площадь, чтобы забыть таким образом естественную солидарность своего «я» с окружающими глупостями и страданиями остальных людей, надо было систематически подкупить и усыпить свой критический смысл красотой отборных выражений. Мелкие мысли и мелкие чувства надо было возвести в перл создания. Гете выполнил этот фокус, и подобные фокусы считаются до сих пор величайшим торжеством искусства»⁷⁵.

Все это Писарев писал в своей статье о Гейне в 1862 г. Два года спустя он несколько изменил свои позиции, увидев за способностью Гете «изви-

Abraham
Barnard
Massachusetts
Circuit

Во манастир мой дојде
и бидејќи и припадна
роду, во својство се
бидејќи се ревнови.

M. Hanymer.

1838-1872 ек. и. сп.

С. Крестушкин.

"А на штаме и конуку и а конуку
 ево јоунах доо!"

"А на не родуна, конула, конула и
 на кону, доо кону, доо кону"
 = 20"

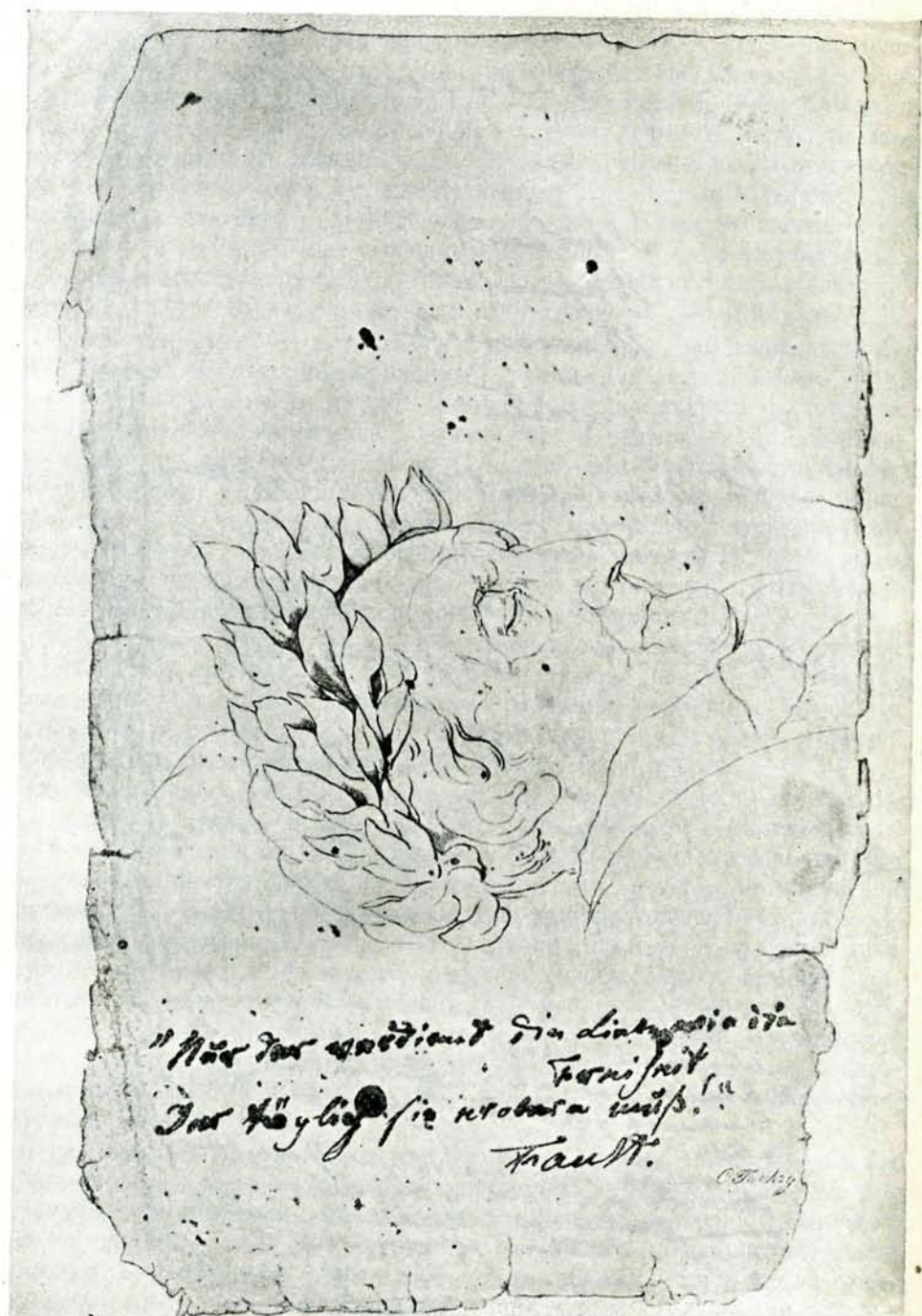
"А на кону, конунах доо кону, доо
 конунах доо кону, доо кону"
 = 20"

"А на кону, конунах доо кону, доо
 конунах доо кону, доо кону"
 = 20"

"А на кону, конунах доо кону, доо
 конунах доо кону, доо кону"
 = 20"

Автограф дарственной надписи Михаила Бакункина на книге Беттины фон Арним „Tagebuch“ (Берлин, 1835), подаренной им своим сестрам 18 сентября 1838 г. „в память того бурного и вместе прекрасного года, в котором мы вместе ее переводили“.

Институт Русской Литературы, Ленинград



Фронтиспис книги „Tagebuch“ Беттины фон Ариим (Берлин, 1835) с автографом Михаила Бакунина
 Изображение Гете в гробу воспроизводит рисунок Фридриха Преллера, сделанный с натуры в Веймаре
 в марте 1832 г.

Институт Русской Литературы, Ленинград

ваться и блюдолизничать», за «разными стихотворными миндальностями и чистенькими оперетками умственное величие», «с избытком заглаживающее или выкупающее» «низкие слабости его характера». Иначе оценивает он теперь историческую роль гетевского наследия, подходя к нему под углом зрения своей теории «мыслящих реалистов». «Гете никого не любил, кроме самого себя и своих собственных идей; он нисколько не заботился об интересах человеческих обществ, и, несмотря на то, он все-таки принес и еще долго будет приносить своими произведениями много пользы тем самым человеческим обществам, к которым он был совершенно равнодушен. Только пустые и мелкие люди могут оставаться бесполезными, а великие умственные силы непременно приносят пользу даже своими ошибками. Гете никогда не был и не будет любимым поэтом читающих масс: вследствие этого он никогда не будет действовать прямо и непосредственно на умственную жизнь масс, потому что на эту жизнь действует только тот, кто любит массу. Но это—наставники и руководители масс, люди различные между собою по дарованиям, но тесно связанные друг с другом единством святой любви и честных стремлений, эти люди, питающие других своими идеями, часто нуждаются сами в умственном подкреплении и обновлении. Эти люди—мыслящие и просвещенные работники, но совсем не мировые гении. Они по своему уму и развитию способны понимать Гете, но у них, разумеется, не достало бы сил произвести то, что он произвел. Для них-то его сочинения составляют гальваническую батарею, которая постоянно снабжает их утомляющиеся мозги новыми электрическими силами. Они читают Гете и глубоко задумываются над его страницами, и ум их растет и крепнет в этой живительной работе, приобретенный таким образом запас свежей энергии и новых умственных сил отправляется все-таки вниз по течению в то живое море, которое называется массой и в которое тем или другим путем рано или поздно вливаются, подобно скромным ручьям, или бурным потокам, или величественным рекам, все наши мысли, все наши труды и стремления. И холодный тайный советник и кавалер фон Гете действует таким образом, и сильно действует, на пользу бедных и простых ближних посредством тех идей и ощущений, которые он возбуждает своими произведениями в тесном кругу своих избранных и высокоразвитых читателей»⁷⁶.

V

Поколение шестидесятых годов было последним, для которого поэтическое и философское наследие Гете служило еще объектом каких-то дискуссий, для которого вопрос о принятии и непринятии Гете хранил еще свою актуальность и жизненную остроту. К семидесятым-восемидесятым годам эта дискуссируемость гетевского наследия исчезает окончательно. Читающая «публика» пробавляется теперь по преимуществу полуанекдотическими и вполне анекдотическими мелочами о Гете, находящими изредка место на журнальных задворках, в разделе «Смесь». Гетеана, так сказать, высокого стиля замыкается в рамках академических исследований и учебников по истории западноевропейской литературы.

Нейтрализация гетевского наследия к концу прошлого века не обозначала конечно того, что все, что писалось и говорилось о Гете после этого времени, что все попытки того или иного осмысления его творчества, предпринимавшиеся позднее, лишены каких бы то ни было элементов классовости. Даже в гетеане журнальных задворков и газетных подвалов,

как правило, в первую очередь направленной к тому, чтобы развлечь, позабавить читателя, иногда чрезвычайно отчетливо проявляется стремление отдельных общественных группировок использовать имя Гете для своих сегодняшних политических нужд. Наиболее яркий по своей циничной обнаженности пример такого «практического применения» Гете представляет собою, пожалуй, заметка некоего Конст. Михайлова под названием «Гете, Пушкин и Хомяков о Константинополе», появившаяся в «Новом Времени» в 1912 г., т. е. как раз во время наибольшего обострения восточного вопроса. Автор заметки рассказывает, как «в один из вечеров 1833 г. в апартаментах императрицы Марии Александровны собрались государь-император Николай Павлович, В. А. Жуковский, граф Вельегорский и две фрейлины... Граф Вельегорский спросил государя: «Говорил ли Гете о политике?» Государь на это ответил: «Однажды великая герцогиня Веймарская высказала очень практичный взгляд: Константинополь должен быть свободным городом, как Франкфурт. На это Гете ответил: «Я того же мнения. Греки им владели и потеряли его, а настоящая Греция—в Афинах». «Это совершенно верно,—добавил государь.— Это было сказано очень хорошо, очень разумно, очень практично». Далее сообщается аналогичный эпизод с той только разницей, что на место Гете поставлен Пушкин, и, резюмируя все сказанное, автор заканчивает: «России остается выполнить завет Пушкина и Гете—постараться сделать Константинополь нейтральным, охранить и оградить Айа-Софию и обереечь свои жизненные и политические интересы в Черном море и в проливах. Этим закончится ее историческая миссия и наступательное движение России в сторону юго-востока Европы. В руках России должны быть два ключа: 1) все Черное море и 2) проливы. Этого хотел Пушкин для России»⁷⁷.

Не менее далеко простирались иногда попытки такого рода «актуализации» Гете, предпринимавшиеся представителями академической историографии. Так в годы империалистической войны в кадетском «Голосе Минувшего» появилась статья ученого литературоведа Владимира Фишера, автора распространенного школьного учебника по истории русской литературы, на тему «Гете и воинственная Пруссия», конечный вывод которой гласил, что Гете «своим орлиным взором предвидел наше время и послал проклятие тому, кто явился теперь причиной мирового кошмара»⁷⁸.

Но подобные примеры являются все-таки единичными. Как правило, классовая ориентированность русских гетеведов выступает в гораздо более замаскированной, завуалированной форме. Даже заявление в роде того, которое сделал известный переводчик Гете Струговщиков в своей работе о «Вертере», где он указывает, что одной из своих задач ставит «смягчить фактическими указаниями некоторые нарекания на Гете, встретившие свой отголосок и у нас,⁷⁹— даже такие явления довольно редки. Обычно тяготение того или иного исследователя к той или иной концепции Гете: к феодально-крепостнической ли концепции Гете—всеобъемлющего и всепримиренного, или разночинской концепции Гете—гениального поэта и жалкого филистера, оказывается задрапированным в тогу самой строгой объективности.

Надо впрочем сказать, что разговор может идти здесь именно только о тяготении к одной из созданных ранее концепций. Попытки дать какое-то новое осмысление поэтического и философского наследия Гете как целого в русской академической гетеане места не имели. Вообще русская академическая историография не может похвалиться особым вниманием к Гете.

А. И. ГЕРЦЕН

Рисунок итальянским карандашом А. Витберга
(1840-е гг.)

Третьяковская Галерея, Москва



Работы о Гете научно-исследовательского характера, появившиеся до восьмидесятых-девяностых годов, почти целиком сводятся к простым пересказам построений западноевропейской гетеаны. Так печатавшаяся в пятидесятых годах в «Библиотеке для чтения» очень солидная (на несколько сот страниц) работа Думшина⁸⁰ представляет собой вполне исправный и добросовестный пересказ известной книги Льюиса. К шестидесятым годам относится ряд работ иногда описательно-очеркового, иногда исследовательского характера упомянутого выше Струговщикова⁸¹. Самая значительная среди них, пожалуй, статья о «Вертере», которую предпослал он своему переводу романа. Но и это опять-таки тщательная компиляция из немецких источников, прежде всего посвященных специально «Вертеру» монографий Апделя и Кестнера.

К последним десятилетиям XIX века относится ряд работ, посвященных проблеме «Фауста». Все они довольно беспомощны теоретически, не очень богаты фактическим материалом и чего-либо существенного к тому, что было сказано о «Фаусте» ранее, не прибавляют. Исключение составляет, пожалуй, одна только статья известного театрального деятеля С. А. Юрьева «Опыт объяснения трагедии Гете «Фауст», не выходящая впрочем за пределы того культурного дилетантства, которым характеризуются и другие работы, относящиеся к этой группе. По своим теоретическим позициям С. А. Юрьев — выученик философско-эстетической историографии. «Фауст» для него — произведение, в котором «в художественной полноте слито воедино все, что до половины девятнадцатого века понято о человеке, о его творческих силах, его назначении и целях на земле, о том идеальном совершенстве, которое доступно его личным силам. Перед нами человек, обуреваемый стремлениями, переходящими меру сил человеческих, объять мыслью всю вселенную, проникнуть тайны жизни и самого божества. В борьбе с непостижимыми для него силами, скрывающими от него истину, он предоставлен только себе, только духу своей личной самодеятельности. Из

глубины духовной жажды, его снедающей, и борьбы с непостижимым выходит он победителем и сам становится творческой силой в жизни и затем причастником жизни вселенской»⁸². Работа эта была только начата автором. Позднее он собирался продолжить ее, но этого своего намерения так и не осуществил.

В русской университетской историко-литературной науке гетеана представлена всего двумя-тремя названиями, если не считать глав и параграфов, посвященных Гете в общих курсах западноевропейской литературы вообще и немецкой в частности. Наиболее крупным памятником университетской гетеаны следует признать довольно популярную в свое время книгу Шахова «Гете и его время», еще в 1908 г. встретившую сочувственный отклик Плеханова⁸³. Книга Шахова—действительно единственный, более или менее оригинальный, обзор жизни и творчества Гете в русской историографии. Правда, самая цель, самая установка книги обуславливает ее не столько исследовательский, сколько популяризационный характер. Но как популяризацию всего того, что было сделано в области изучения Гете к семидесятым годам прошлого века, ее и до сих пор приходится считать незамененной никакой другой, несмотря на все ее дефекты, несмотря на просветительскую ограниченность автора, на его полную методологическую зависимость от тэновской школы. Монографические разработки отдельных проблем гетевского литературного наследия в русской академической историографии почти отсутствуют, если не считать двух этюдов о «Фаусте» Шепшелевича⁸⁴, как впрочем и книга Шахова, преследующих не столько исследовательские, сколько популяризаторские цели.

Даже такие темы, как «Гете и Россия», «Гете и русская литература», «Гете и русские писатели», почти совершенно не затрагивались русскими учеными. Единственная сколько-нибудь солидная работа, примыкающая сюда,—книга Розова «Гете и Пушкин»—солидна только по объему. С точки зрения качественной она представляет собою не более как ряд совершенно произвольных сопоставлений, не выдерживающих никакой критики⁸⁵.

Интерес к этой теме однажды, правда, обнаружился, но отнюдь не со стороны академической историографии. Его носителем выступил А. В. Половцов—заведующий общим архивом министерства двора и председатель «императорского» исторического общества. Имеем таким образом своеобразный рецидив того традиционного внимания к Гете со стороны официальных русских сфер, которое наблюдалось еще при жизни поэта⁸⁶. В 1904 г. Половцов вручил Стасову для передачи Л. Н. Толстому письмо, в котором он высказал свое мнение о Гете. Стасов, хотя и объяснил Половцову, что Толстой «вовсе не любит и не обожает Гете», но письмо все же доставил по назначению. Ответа на него повидимому однако так и не последовало. Что стало с собранными Половцовым материалами—неизвестно⁸⁷.

VI

Интерес к Гете, проявленный русской литературной общественностью конца прошлого века, как видим, был неглубок и не слагался в какую-то цельную картину. Русское гетеанство как цельное умственное движение иссякает к пятидесятым годам, а десятилетием позднее затихают последние дискуссии о Гете. Гете становится благородной окаменелостью, которую редко и без особой охоты извлекают из музейного ящика. Андрей Белый не слишком противоречил действительности, когда писал о старшем поколении: «и когда с нами спорили о поэзии, то оказывалось, что спорившие

не знают ни взглядов на поэзию Реми де Гурмона, Бодлера, ни прочих проклятых, ни Гете, ни даже Пушкина»⁸⁸.

Новая волна интереса к Гете подымается позднее, «на рубеже столетий», когда на сцену выступает поколение символистов. И то не сразу. Теперь является уже научным трюизмом положение о том, что русский символизм на всем своем протяжении не представляет собою чего-то единого. Необходимо различать три этапа, три фазы его исторического становления. Эти три фазы соответствуют трем ступеням исторического развития эстетической культуры русской буржуазии ее последнего, предсмертного, периода. Первая, когда в классовом сознании буржуазии свежо еще воспоминание о триумфальном шествии капитализма в пореформенную эпоху, когда буржуазия переживает чувство некоторого утомления своими победами; если она и обнаруживает какие-то признаки недовольства действительностью, то не потому, что видит в ней что-то враждебное себе, а потому, что она слишком утомлена, пресыщена этой действительностью, чтобы ограничиваться простым любованием ею. Такова социально-психологическая база раннего символизма, именующегося тогда еще модернизмом и декадентством.

В эстетике этого раннего символизма Гете не занимает и не может занимать сколько-нибудь значительного места. Характерна в этом отношении статья Бальмонта, которой откликнулся он на полуторастолетний юбилей со дня рождения Гете. Ни в какой мере не намереваясь развенчать Гете, признавая, что «он является единственным поэтом, достигшим идеальной красоты цельности и в смысле совершенства типического как художественная натура он превосходит всех поэтов, хотя по силе таланта он значительно уступает и Шекспиру, и Кальдерону»⁸⁹, Бальмонт в то же время вполне определенно подчеркивает общую чуждость гетевского наследия психо-идеологическим началам новой школы. Бальмонт пишет: «Есть еще другое отличие этого великого гения от целой группы поэтов, заставляющих нас, изнервничавшихся, утонченных и истомленных своей утонченностью, периодически возвращаться к уравновешенному Гете, покидая наши душистые и душные теплицы, и подобно верным богомольцам приносить ему обетный дар наших лучших симпатий. Это отличие заключается в том, что он—резкая противоположность коренящемуся в нас трагизму. В нем враждебное человеческой природе, вступая в междоусобную борьбу и создавая лирические грозы, всегда приводит к радуге»⁹⁰. Итак Гете в сознании Бальмонта ни в какой мере не учитель,—он только объект «периодических возвращений», но не постоянный спутник, как Эдгар По или Бодлер.

Интересные штрихи имеются также в предисловии, которым снабдил Бальмонт свой перевод «Фауста» Марло. «Можно быть благодарным Гете за высоко интересную поэму, но можно и очень сетовать на него за то, что он совершенно исказил прекрасную легенду. Произведение Гете останется навсегда одним из самых блестящих созданий человеческого ума благодаря яркой интересности деталей, но в смысле цельной идеи, в смысле соотношения между предполагаемым типом героя и психологическим развитием драмы эта поэма является гигантским хаотическим сбором фактов и идей, не облеченных органической стройностью и лишенных поэтической гармонии. Трагедия Христофора Марло, представляющая из себя первую по времени драматическую разработку немецкой легенды, имеет то великое преимущество перед драмой Гете, что Марло уловил все основные

моменты народного предания, удержал его мрачный, средневековый характер... Конечно, трагедия Марло ограниченнее по содержанию мозаичной поэмы Гете. Но это не ограниченность бедности, а стройная замкнутость художественной цельности. Поэма Гете—это искусственно соединенные разнородные штрихи долгой и богатой жизни, полной холодных наблюдений ума. Трагедия Марло—это отдельный ярко выраженный психологический момент, полный неукротимого кипения»⁹¹.

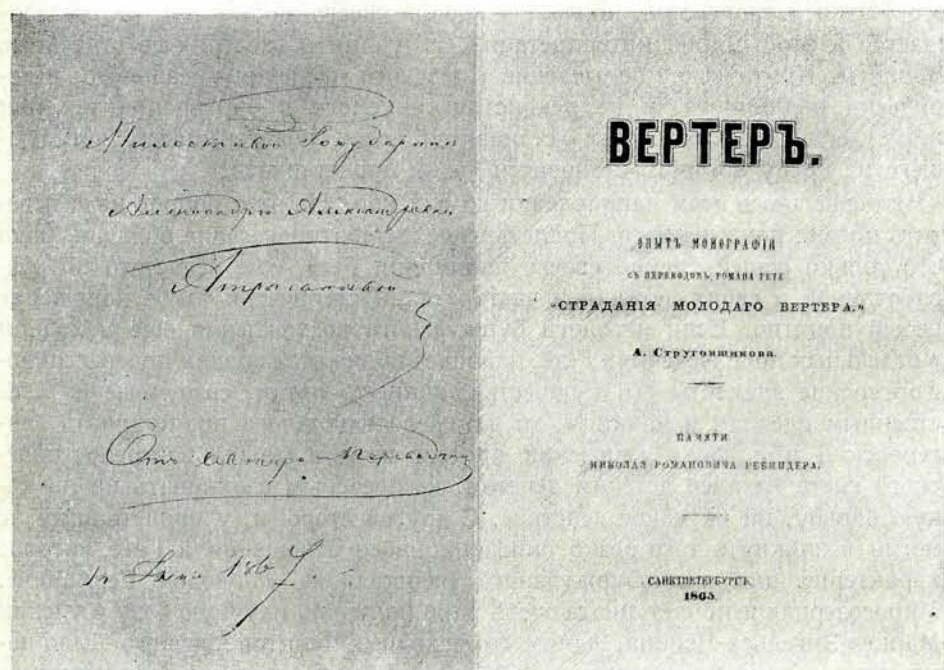
Эти две бальмонтовские заметки—почти все, чем откликнулось старшее поколение символистов на Гете. Другой мэтр символизма на первом этапе его развития—Брюсов—хотя и интересовался Гете и переводил его, но развернутого теоретического осмысления своих интересов к Гете не дал. Да и переводы его из Гете—скорее отзвук его общего литературного универсализма, общего тяготения к творческому наследию мировой поэзии, нежели проявление какого-либо гетеанства в точном смысле слова. Так же, как Гете, он переводил и Вергилия, и Данта, и армянских поэтов.

Положение меняется после 1905 г., когда явственно обнаруживаются уже все признаки загнивания капиталистического уклада, когда он трещит по всем швам под ударами, наносимыми ему извне, когда только что разгромленное, но готовое каждую минуту вспрыгнуть с новой силой рабочее движение сулит господству буржуазии скорый и окончательный крах. Тогда-то ее недовольство действительностью и принимает форму конфликта, стимулирующего вступление буржуазного искусства на его последний путь «от реального к реальнейшему», а *realibus ad realioribus*. Тут-то эстетика символизма и обнаруживает свое родство с эстетикой Гете, конечно Гете восьмисотых годов, Гете—автора «Фауста» и по преимуществу второй его части. Эту задачу—задачу приспособления поэтического и философского наследия Гете к идеологическим и эстетическим нормам символизма—выполняет Вячеслав Иванов, развивающий положение о том, что «принцип символизма, некогда утверждаемый Гете, после долгих уклонов и блужданий снова понимается в значении, которое придавал ему Гете, и его поэтика оказывается в общем нашею поэтикой последних лет»⁹². Этой же задаче подчинена у Вячеслава Иванова интерпретация отдельных произведений Гете. «Фауст» истолковывается как «предостережение против опасностей материалистической культуры», «Ифигения» объявляется не трагедией, а «проповедью гуманизма восемнадцатого столетия как этической системы, основанной на отвлеченном оптимизме», «ибо трагедия была подвижна духом Диониса, Диониса же Гете боялся и избегал сознательно»⁹³.

Теми же социальными соками, что и построения Вячеслава Иванова, питается интерес символистов к натурфилософскому наследию Гете, послужившему объектом довольно ожесточенной полемики между двумя теоретиками символизма: Э. Метнером и Андреем Белым. В 1914 г. вышла книга Метнера «Размышления о Гете. Разбор взглядов Р. Штейнера в связи с вопросами критицизма, символизма и оккультизма». Ответом ей была вышедшая двумя годами позднее книга Андрея Белого «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности». Натурфилософское наследие Гете было использовано таким образом обоими авторами не как объект самостоятельного исследования, а в связи с исходящей от Штейнера попыткой связать как-то имя Гете с положениями его собственной антропософской системы. Эта попытка встретила оппозицию со стороны Метнера, высказавшего в противовес Штейнеру мысль о том, что «универсальность Гете

специфична, что это не принципиальное сбирание всего доброго и хорошего из всех областей и со всех концов, а идейный выбор очень многообразного, но в таком определенном сочетании, от твердыни которого неминуемо должно отпрянуть как рыхлое тесто всеобъемлющего, синтетического знания теософии, так и дробность кургузого специализма».

Метнеровская оппозиция в свою очередь встретила очень резкий отпор со стороны ортодоксального антропософа и штейнерианца в те годы — Андрея Белого. Пересказывать все содержание этой полемики вряд ли стоит:



Титульный лист экземпляра „Вертера“ в переводе А. Струговщикова (СПБ, 1865) с дарственной надписью переводчика

Институт Русской Литературы, Ленинград

она настолько густо пропитана кружковым жаргоном позднего символизма, что не только не может быть речи о каком-либо интересе ее для наших дней, но современному читателю часто просто даже непонятно, что утверждает один полемист и против чего возражает другой.

Интересу, проявляемому к Гете младшим поколением символистов, исторически и социально параллельно то внимание, которым окружает его имя русская идеалистическая философия того времени, правда во многом повторяя здесь настроения западноевропейской философии. Западноевропейская буржуазная мысль раньше, чем русская, усмотрела в Гете одного из адептов той борьбы за «цельное», «органическое» мировоззрение, которую повела она теперь, отказываясь от одного за другим из позитивистических и эмпиристических принципов научного знания, разработанных ею в период исторического восхождения буржуазии. В этой борьбе и родился отмеченный знаком высокой исторической характерности лозунг «от Канта к Гете», который русским метафизикам оставалось только подхватывать

и развивать. Разработке этой темы и посвящена например статья С. Л. Франка о гносеологии Гете⁹⁴. По существу это довольно полное и стройное изложение на гетевском материале основополагающих принципов русского интуитивизма, с его учением об онтологической реальности познаваемого предмета, об интуиции как основном методе знания и т. д.

Так диалектически замыкается исторический путь русской буржуазной гетеаны. Начав сокрушительной критикой феодально-дворянской трактовки Гете в период своего исторического восхождения, буржуазия, так и не поняв Гете до конца, не осознав вполне трагических противоречий его жизни и творчества, кончает в период своего заката тем, что возвращается к этой старой интерпретации, углубляя и заостряя ее отдельные моменты. Критическое осмысление гетевского наследия—реального, исторически подлинного, а не реконструируемого в оправдание тех или иных догматических систем—становится делом нового класса, вступающего на арену истории, становится делом пролетариата.

Что сделано в этом направлении до сих пор? На этот вопрос надо ответить прямо: пока немного. Пролетарское литературоведение обладает пока что только общей схемой своего понимания Гете, еще недостаточно разработанной в своих деталях и частностях. Исторически такое положение вещей понятно. Если идеологи буржуазного восхождения еще находили в отдельных произведениях Гете, наиболее полно отразивших прогрессивно-бюргерские элементы его творчества, какие-то нотки, созвучные их собственным идеалам и чаяниям, то для революционного пролетариата вертеровский или даже гецевский протест против феодально-крепостнического гнета казался детским лепетом, неспособным вдохновить ни на какую борьбу, ни на какое действие. С другой стороны, у пролетариата не могло возникнуть того резко оппозиционного отношения к Гете, которое характерно для мелкобуржуазного радикализма «Молодой Германии». Миросозерцание пролетариата очень рано получило научную базу в учении Маркса-Энгельса-Ленина, одним из исходных пунктов которого было положение о том, что «марксизм завоевал себе свое всемирно-историческое значение как идеология революционного пролетариата тем, что он, марксизм, отнюдь не отбросил ценнейшие завоевания буржуазной эпохи, а, напротив усвоил и переработал все, что было ценного в более чем двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры. Только дальнейшая работа на этой основе и в этом же направлении, одухотворяемая (практическим опытом) диктатуры пролетариата как последней борьбы его против всякой эксплуатации, может быть признана развитием действительно пролетарской культуры»⁹⁵. В свете этого положения какие бы то ни было попытки огульного отрицания всемирно-исторической ценности гетевского наследия представлялись вредными и бессмысленными. Речь должна была идти и шла не о том, принимать или не принимать Гете, а о том, чтобы научно понять его во всей его противоречивости.

Для этого прежде всего надо было освободить Гете от той реакционно-идеалистической шелухи, которою облепила его буржуазия в период своего исторического заката, отместить те ложные «объяснения» исторического дела Гете, которые в различное время возникали у буржуазной историографии и ее псевдомарксистских подголосков. Среди русских представителей последних нельзя не указать на статейку достаточно известного П. Струве «Маркс о Гете», пытающуюся превратить Маркса в буржуазного

«объективиста», а марксистскую эстетику подменить идеалистической, утверждающей, что «поэзия не имеет цели вне себя—она сама себе цель»⁹⁶. К сожалению развернутой критики его статья своевременно не встретила.

В работах русских литературоведов-марксистов, работах, относящихся даже к раннему, первоначальному этапу исторического становления марксистского литературоведения, основным объектом которых является творчество самого Гете, а не буржуазных гетеведов, этот полемический момент, момент преодоления возводимой буржуазной историографией легенды о Гете, неизменно выступает на первый план. Статья А. Луначарского например о проблеме рока в трактовке великих художников прошлого в части, посвященной «Фаусту», прежде всего и в первую очередь направлена против буржуазных интерпретаторов «Фауста», в концепции которых Фауст на старости лет делается не только святым, но в конце концов даже и жандармом, которые утверждают, что фаустовская «борьба с морем и постройка плотин есть только символ, что под ним нужно понимать борьбу с революцией»⁹⁷.

Но такие работы—работы, которые своей задачей ставят анализ смысла и содержания исторического дела Гете, а не критику построений буржуазной гетеведы,—единичны в нашем марксистском литературоведении. Кроме только что указанной статьи А. Луначарского, имеющей право называться марксистской, кстати не без оговорок, можно назвать еще, пожалуй, книгу Лихтенштадта о Гете—натуралисте и натурфилософе⁹⁸. Но это не монографическое исследование, а свод бегло прокомментированных фактических материалов, с небольшой вступительной статьей о работе Гете над построением «биологического фундамента» своего мирозерцания и «оправдании этого мирозерцания перед лицом гносеологического анализа». Претворить массу собранного материала в нечто законченное автор, писавший эту книгу в Шлиссельбургской тюрьме и погибший в первые годы гражданской войны, не успел. Кроме того, как и только что названная статья А. Луначарского работа Лихтенштадта может быть включена в число марксистских только с очень и очень большими оговорками. Груз богдановских установок чувствуется в ней настолько заметно, что под его тяжестью совершенно пропадают те моменты, где автор как-то пытается приблизиться к подлинному диалектико-материалистическому пониманию натурфилософского наследия Гете.

Остаются таким образом немногие страницы о Гете, которые есть в общих курсах западноевропейской литературы, писанные авторами-марксистами, каков например В. М. Фриче и приближавшийся к марксизму П. С. Коган⁹⁹. Но тот ответ, который они дают на вопрос, чем был Гете и какими своими сторонами его историческое дело ценно для нашей эпохи, не может не быть самым суммарным, общим и приблизительным. С исчерпывающей полнотой ответить на этот вопрос должно, опираясь на оценку, данную Гете классиками марксизма, марксистское литературоведение наших дней.

Текущий 1932 год—столетняя годовщина со дня смерти Гете—оказался довольно плодотворным в этом отношении. Мы не можем здесь вдаваться в подробный анализ всех русских марксистских работ о Гете, появившихся в связи с этим юбилеем: эти работы только что начали появляться, и дать развернутый их обзор и суммировать их выводы—дело специальной работы.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Фактический материал по русскому вертеризму с исчерпывающей полнотой собран в печатаемой выше работе В. М. Жирмунского «Гете в русской поэзии». Здесь мы ограничиваемся только общим освещением вопроса.
- ² Н. Марлинский. Второе полное собрание сочинений, изд. 4-е, СПб, 1847, т. IV, ч. XI, стр. 197.
- ³ О гетезанстве Кюхельбекера, а также о русском гетезанстве первых трех десятилетий XIX в. вообще подробнее см. в печатаемой выше работе С. Н. Дурылина «Русские писатели у Гете в Веймаре».
- ⁴ «Литературный музей на 1827 г.».
- ⁵ А. И. Герцен. Былое и думы. С биограф. очерком, вступит. статьей и комментариями Л. Б. Каменева. ГИЗ, М.-Л., 1931 г., т. I, стр. 329.
- ⁶ Н. В. Станкевич. Переписка. Ред. и изд. Алексея Станкевича. М., 1914 г., стр. 561.
- ⁷ Указ. изд., стр. 704.
- ⁸ Указ. изд., стр. 698.
- ⁹ Указ. изд., стр. 565.
- ¹⁰ Указ. изд., стр. 468.
- ¹¹ «Т. Н. Грановский и его переписка». М., 1897 г., т. II, стр. 380.
- ¹² Н. В. Станкевич. Переписка, стр. 250.
- ¹³ Указ. изд., стр. 176—177.
- ¹⁴ Указ. изд., стр. 569.
- ¹⁵ Описание Неверова помещено в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» 1839 г., т. I, стр. 711.
- ¹⁶ «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, стр. 438.
- ¹⁷ Указ. изд., т. II, стр. 438.
- ¹⁸ Указ. изд., т. II, стр. 616.
- ¹⁹ Указ. изд., т. II, стр. 107.
- ²⁰ Указ. изд., т. II, стр. 195.
- ²¹ Указ. изд., т. I, стр. 270.
- ²² Н. В. Станкевич. Переписка, стр. 468.
- ²³ Указ. изд., стр. 370.
- ²⁴ Указ. изд., стр. 665.
- ²⁵ «Сын Отечества» 1831 г., т. XVII, стр. 397, сл.
- ²⁶ «Сын Отечества и Сев. архив» 1838 г., т. I, стр. 27.
- ²⁷ «Современник» 1838 г., т. X, стр. 11, сл.
- ²⁸ Я. Неверов. Германская литература в последнее десятилетие 1830—1840 гг. «Отечеств. Записки» 1840 г., т. III, стр. 42.
- ²⁹ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. Под ред. С. А. Венгерова, т. IV, стр. 433.
- ³⁰ Указ. изд., т. IV, стр. 436.
- ³¹ Н. В. Станкевич. Переписка, стр. 534.
- ³² «Московский Наблюдатель» 1838 г., март, кн. I.
- ³³ В. Г. Белинский. Письма. Ред. и прим. Е. А. Ляцкого, П., 1914 г., т. II, стр. 196.
- ³⁴ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. II, стр. 73.
- ³⁵ Там же.
- ³⁶ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 471.
- ³⁷ В. Г. Белинский. Письма, т. I, стр. 317.
- ³⁸ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. V, стр. 281.
- ³⁹ В. Г. Белинский. Письма, т. I, стр. 333—334.
- ⁴⁰ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 379.
- ⁴¹ Указ. изд., т. VI, стр. 24.
- ⁴² В. Г. Белинский. Письма, т. II, стр. 282.
- ⁴³ Указ. изд., стр. 349—351.
- ⁴⁴ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 148.
- ⁴⁵ А. И. Герцен. Полное собрание сочинений. Под ред. М. К. Лемке, т. I, стр. 141.
- ⁴⁶ Специально этому вопросу посвящена статья Л. Крестовой, Гете под пером молодого Герцена, публикуемая во втором томе альманахов «Звенья».
- ⁴⁷ А. В. Дружинин. Собрание сочинений. Ред. и изд. Н. В. Гербеля, т. VII, стр. 637.
- ⁴⁸ Указ. изд., т. V, стр. 354—355.
- ⁴⁹ Аполлон Григорьев. Собрание сочинений. Под ред. В. Саводника, вып. II, стр. 8—9.
- ⁵⁰ В. П. Боткин. Собрание сочинений, СПб, 1890—1891, г., т. II, стр. 35.
- ⁵¹ А. В. Дружинин. Собрание сочинений, т. VII, стр. 195.
- ⁵² Указ. изд., т. VII, стр. 219.

- ⁵³ Указ. изд., т. VII, стр. 222.
- ⁵⁴ Указ. изд., т. VI, стр. 719.
- ⁵⁵ В. П. Боткин. Собрание сочинений, т. II, стр. 278.
- ⁵⁶ Аполлон Григорьев. Собрание сочинений, вып. II, стр. 5.
- ⁵⁷ Н. Г. Чернышевский. «Литературное наследие», 1929 г., т. I, стр. 499.
- ⁵⁸ Указ. изд., т. I, стр. 332.
- ⁵⁹ Указ. изд., т. I, стр. 315.
- ⁶⁰ Указ. изд., т. I, стр. 293.
- ⁶¹ Указ. изд., т. I, стр. 318.
- ⁶² Указ. изд., т. I, стр. 436.
- ⁶³ Указ. изд., т. I, стр. 439.
- ⁶⁴ Д. И. Писарев. Полное собрание сочинений, изд. 5-е Павленкова, СПб, 1811 г., доп. т., стр. 315.
- ⁶⁵ Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, изд. М. Н. Чернышевского. П., 1906 г., т. II, стр. 15.
- ⁶⁶ Указ. изд., т. I, стр. 154.
- ⁶⁷ Указ. изд., т. III, стр. 727.
- ⁶⁸ Чернышевский в Сибири. Переписка с родными. Под ред. Е. А. Ляцкого. М., 1912 г., т. III, стр. 150.
- ⁶⁹ Н. Г. Чернышевский. Собрание сочинений, т. III, стр. 150.
- ⁷⁰ Указ. изд., т. III, стр. 588.
- ⁷¹ Указ. изд., т. III, стр. 589—590.
- ⁷² В. Зайцев, Гейне и Берне.—«Русское Слово» 1863 г., кн. IX, стр. 15.
- ⁷³ Указ. изд., стр. 18, 19.
- ⁷⁴ Д. И. Писарев. Полное собрание сочинений, т. II, стр. 290.
- ⁷⁵ Там же.
- ⁷⁶ Указ. изд., т. IV, стр. 102—103.
- ⁷⁷ «Новое Время» от 22 ноября 1912 г. Заметка эта указана мне И. С. Зильберштейном.
- ⁷⁸ «Голос Минувшего» 1915 г., № 1, стр. 99.
- ⁷⁹ А. Струговщиков, Вертер. Опыт монографии с переводом романа Гете. П., 1856 г., стр. III.
- ⁸⁰ Г. Думшин, Гете, его жизнь и произведения.—«Библиотека для чтения», 1857 г., №№ 2, 3, 5, 7, 9, 12; 1858 г., №№ 5, 11, 12.
- ⁸¹ Они перечислены в печатаемом ниже указателе В. П. Зубова.
- ⁸² «Русская Мысль» 1884 г., № 11, стр. 273.
- ⁸³ Подробнее см. в сообщении И. Ипполита «Неизвестная рецензия Плеханова»
- ⁸⁴ А. Шепелевич, Этюды о «Фаусте».
- ⁸⁵ О других работах на эту тему см. в уже упоминавшейся работе С. Н. Дурлыгина «Русские писатели у Гете в Веймаре» (введение).
- ⁸⁶ См. в той же работе гл. II, III, IV.
- ⁸⁷ См. Лев Толстой и В. Стасов. Переписка. Л., 1929 г., стр. 358 сл.
- ⁸⁸ Андрей Белый, На рубеже двух столетий. М., 1930 г., стр. 5.
- ⁸⁹ К. Бальмонт, Избранник жизни.—«Жизнь» 1899 г., № 7, стр. 13.
- ⁹⁰ Там же.
- ⁹¹ К. Бальмонт, Несколько слов о типе Фауста.—«Жизнь» 1899 г., № 9.
- ⁹² Вяч. Иванов, Гете на рубеже двух столетий. Издание «История западной литературы» под ред. проф. Ф. Д. Батюшкова, т. I, стр. 114.
- ⁹³ Указ. изд., т. I, стр. 129.
- ⁹⁴ С. Л. Франк, О сущности художественного познания (гносеология Гете).—«Вопросы теории и психологии творчества», т. V.
- ⁹⁵ В. И. Ленин. Собрание сочинений, 2-е изд., т. XV, стр. 409—410.
- ⁹⁶ П. Б. Струве, Маркс о Гете.—«Мир Божий» 1898 г., № 2 (Струве имел здесь в виду статью Энгельса о книге Грюна, считавшуюся тогда принадлежащей Марксу); см. также его сборник «На разные темы», СПб, 1902 г., стр. 257.
- ⁹⁷ А. В. Луначарский, Этюды. ГИЗ, М.-Л., 1923 г., стр. 188.
- ⁹⁸ В. П. Лихтенштадт, Гете. Борьба за реалистическое мировоззрение. ГИЗ, П., 1920 г.
- ⁹⁹ В. М. Фриче, Очерк истории западноевропейской литературы. М., 1931 г.; П. С. Коган, Очерки по истории западноевропейской литературы. М., 1930 г.; ср. его же статьи: «Русский ученый школы Тэна» (о книге Шахова «Гете и его время»), «Русская Мысль» 1897 г., № 12, и «Два биографа» (Бельшовский и Феге о Гете)—«Русская Мысль» 1898 г., № 12.
- ¹⁰⁰ Сведения о них читатель найдет в печатаемой ниже хронике гетевских торжеств в СССР, а также в библиографическом указателе В. П. Зубова.